



СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

11

ПАРИЖ

1983

Журнал редактирует

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, А. Пятигорский, В. Турчин, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1983

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аноним

СЕМЬ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ О РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1. Как вы оцениваете сегодняшнюю церковную ситуацию?

Я считаю, что в настоящее время Русская Православная Церковь (РПЦ) пребывает в состоянии кризиса. Этот кризис имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. Внешняя состоит в том, что Церковь вынуждена существовать в атеистическом, более того – богоборческом государстве, которое постоянно заявляет в открытую, что его цель – полное и окончательное уничтожение религии. Это государство подчинило в настоящее время РПЦ жесткому и жестокому контролю; насильственно закрыло и удерживает закрытыми подавляющее большинство храмов, монастырей и духовных школ; препятствует своевременному, достаточному и правильному формированию кадров духовенства; поставило под свое тотальное влияние и в значительной мере подкупило большинство епископата, сформировав его согласно своим нуждам и понятиям. РПЦ не имеет своих свободных печатных органов, вообще не издает никакой религиозной литературы (не имеет возможности); Св. Писание, молитвенники и богослужебные книги издает небольшими тиражами, недоступными для простых верующих простым путем.

Прислано из России

От ред. Номер "Синтаксиса" был уже набран, когда вышел из печати "Вестник РХД" №137 с этой же статьей. Но мы решили ее все-таки напечатать, поскольку круги читателей "Синтаксиса" и "Вестника" не всегда совпадают, а статья Анонима во многом отвечает нашему пониманию религиозно-общественной проблематики в современной России

Государство постоянно вмешивается во внутренние дела Церкви; оно навязало ей принятие так называемого "Синодального постановления" Архиерейского собора 1961 г., абсурдного по своей сути (передача дел внутренней административно-хозяйственного управления церковной общиной от священника двадцатке мирян); требует противозаконной регистрации крестин и других церковных треб; не признает за церковной общиной права юридического лица; конституционно отрицает за Церковью право "на пропаганду", сохраняя его для атеистов; оно препятствует верующим воспитывать в религиозном духе своих детей; категорически запрещает законодательством благотворительную деятельность, а также какие бы то ни было кружки верующих — будь то библейские, детские, юношеские, женские, по изучению веры или даже любой светской дисциплины. Последним обеспечивается разобщенность и дезориентированность православных кругов в стране, которые, по сути дела, существуют на полулегальном положении. В стране вообще невозможны какие бы то ни было церковные организации, даже такая, на первый взгляд естественная, как, например, совет объединенных приходов; вообще все существование верующих в Церкви атеистические власти хотят свести к пребыванию "внутри стен храма".

Внутренняя сторона кризиса состоит в том, что сама РПЦ не использует, то есть, видимо, не может использовать, не в состоянии использовать даже те возможности, которые ей предоставлены. Государство поставило епископат под жесткий контроль и подкупило его — но ведь епископат дал поставить себя под контроль и подкупить. У нас мало храмов и монастырей, но и в тех храмах, которые открыты, огромное большинство священства либо вообще не произносит проповедей, либо делает это, скажем, откровенно плохо. Те немногочисленные монастыри, которые мы имеем, могли бы "брать качеством" — одна только Оптина Пустынь в прошлом веке определяла духовную атмосферу существенной части русского общества. Наши монастыри не соответствуют этим требованиям. Мы имеем две духовные академии и три семинарии. Для 260 миллионов это вообще ничто. Тем более блистательных пасты-

рей они должны были бы выпускать. Должны были бы, но не выпускают. Наконец, уровень тех немногочисленных и худосочных журналов, которые разрешено выпускать Московской Патриархии ("Журнал Московской Патриархии" и "Православный вѣстник"), весьма невысок, и это уже не вина безбожников (эта характеристика не относится к "Богословским трудам").

Наконец, духовенство почти совсем не работает с прихожанами, особенно с тем большим числом новопришедших, которое все продолжает расти последние годы. Даже если причина этой пассивности — запуганность, для пастырей она никоим образом не может служить оправданием; но, к сожалению, создается впечатление, что все наоборот — причина состоит в пассивности священства, а "запуганностью" лишь оправдывают эту пассивность. Вместе с этой пассивностью воистину бич многих священников — консерватизм в обрядности и богомыслии, какая-то удивительная боязнь религиозного творчества, не говоря уже о страхе перед братскими христианскими исповеданиями, боязнь любых, даже самых разумных заимствований и обновлений, вообще общая косность, грозящая со временем вырождением русской церковности в этнографическую. Печальнее всего, что эти косность, традиционализм и этнографизм легко подхватываются многими новообращенными, еще вчера "критически мыслящими интеллигентами" или кем-то подобным.

Вместе с тем, оценивая сегодняшнюю церковную ситуацию всесторонне, следует подчеркнуть, что РПЦ за период 1917-1943 и в меньшей степени 1960-65 гг. претерпела столь страшные, жестокие и планомерные гонения, что остается, говоря житейским языком, лишь удивляться ее жизнеспособности. Несмотря на физическое уничтожение основной части священноцерковнослужителей и мирян, на эмиграцию или высылку значительного числа выдающихся богословов и священнослужителей, разгром школ и монашества, уничтожение крестьянства (т.е. носителей народной "традиционно-естественной" религиозности), разрушение огромного количества храмов и монастырей, введение волчьих антицерковных законов, систематическое оболванивание населения "научно-атеистической" ахи-

неей, наконец, несмотря на растерянность самой РПЦ и раскол внутри нее в годы гонений (обновленцы, григорианцы и т.д.), Русская Церковь, как только ей предоставлена была возможность, оказалась способной восстать из пепла, сохранила неприкосновенной апостольскую и учительную преемственность, сакраментальную часть и даже дух противостояния — пусть пассивного — безбожному режиму. Когда с конца 60-х годов в РПЦ начался все растущий в настоящее время приток молодых сил, она, несмотря на все ее вышеперечисленные недостатки, оказалась в состоянии принять серьезно ищущих и ответить серьезно вопрошающим.

Следствием чего явилось безусловное повышение авторитета и престижа РПЦ в обществе вообще и в образованной его части в особенности. Вообще об этом приходе следует сказать отдельно. Вот уже свыше десятилетия как представители самых разных социальных групп и категорий, не останавливаясь, идут и идут в РПЦ, причем число новообращенных возрастает в геометрической прогрессии. Какими бы причинами ни руководствовались иные из этих людей, сам по себе факт безусловно свидетельствует в пользу Церкви, хотя, разумеется, объясняется силой и величием Христа, а не высоким уровнем нашей современной церковности (этот уровень, повторяю, пока недостаточно высок, и приход в Церковь осуществляется вопреки, а не благодаря ему) Впрочем, каков бы ни был уровень церковности каждой конкретной Поместной Церкви в каждый конкретно-исторический момент ее бытия, к счастью, в Церковь нас всегда принимает Иисус Христос, а уж потом община, пресвитер, епископ...

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются причины сегодняшнего положения Церкви?

Это чрезвычайно сложный вопрос. Проще всего было бы ответить, что причины сегодняшнего кризиса — во вчерашних гонениях безбожной власти, а также и в том, что и сейчас Церковь в нашей стране, по сути дела, поставлена в положение, когда ей остается лишь выживать до лучших времен. Поэтому, мол, она и держится за архаичное бого-

служению, чисто обрядовую сторону церковной жизни, поэтому боится активного воздействия на массы, стремясь пока что сохранять хотя бы возможность совершать таинства. Но, во-первых, такой ответ, объясняя слабость РПЦ во многих аспектах современной церковной жизни и консерватизм большинства ее представителей (культовый и богословский), никак не проясняет, почему епископат дал себя подкупить в прямом смысле слова, почему священство столь пассивно даже в том, что ничем ему не грозит, почему многих мирян (даже из новообращенных) столь быстро начинает устраивать традиционное обрядовое благочестие (или "благочестивое" обрядоверие?) и богословствование, почему их так пугает любое религиозное творчество новых форм (разумеется, на основе старых). Кроме того, этот ответ не объясняет, отчего РПЦ в целом не использует даже тех возможностей, которые имеет.

Наконец, этот ответ проходит мимо того вопиющего факта, что пресловутая безбожная власть возникла в государстве, где РПЦ в продолжение многих веков являлась духовным стержнем основной части общества; именно в ее руках находилось дело нравственного воспитания народа, и если это дело принесло столь плачевные плоды, как торжество атеизма в народных массах, приходится ли нам обвинять безбожников? Кто виноват: стадо или пастыри?

Вот почему мне думается, что на вопрос о причинах сегодняшнего положения РПЦ однозначно ответить почти невозможно. Разве что в нескольких томах. Однако, поскольку каждый из нас имеет какие-то личные соображения на этот счет, я просто попытаюсь поделиться своими, подчеркнув только, что отсутствие места вынуждает меня раскрывать лишь выводы, следствия размышлений, но не ход самих этих размышлений как таковых.

Современный кризис Русской Православной Церкви коренится в целом ряде важных факторов российского прошлого. Это:

- особенности принятия и существования христианства в России;
- особенности русского национального характера и душевного строя;

— особенности православия вообще и русского православия в частности;

— особенности вопросов, волновавших Русскую Церковь и русское общество.

Вполне осознавая, насколько серьезны поставленные здесь пункты, я все же попытаюсь теперь раскрыть каждый из них так, как это понимаю, не вдаваясь в многочисленные частности, каковых, конечно, весьма много и которые гораздо более серьезны и значительны, чем это может показаться на первый и даже на второй взгляд.

Едва ли не основной причиной всех исторических и современных "минусов" Русской Церкви, а следовательно и русского общества, я считаю *совсем недавнее принятие Россией христианства*. Лично для меня "корень всех бед России" именно в этом... но именно в этом и надежда на будущее (и всегда наличествующее в потенции) возрождение и Русской Церкви, и русского общества, и России. Ибо позднее принятие Русью Христова благовестия — не вина страны, даже не беда ее, но просто — объективный исторический факт, который всегда следует учитывать и иметь в виду.

Под особенностями существования христианства в нашей стране я подразумеваю тот факт, что в России не только был в первое время осуществлен, как и во всех других странах, компромисс с язычеством (и в этом смысле константиновскую эпоху, видимо, следует именовать эпохой не христианских царств, но христианизированных царств и народов), но и то, что этот компромисс, именно в силу позднего принятия христианства, вообще существовал чрезвычайно долго — практически до нашего времени. *Россия всегда была христианизированной, а вовсе не христианской страной*. И это опять же не вина, не беда, а объективный факт; кроме того, подобную характеристику можно отнести далеко не только к одной России и далеко не только к странам православной культуры.

И второе. Если поначалу церковнославянский язык и облегчал понимание Св. Писания и богослужения (хотя и здесь таились свои соблазны: ведь наличие латинского или, например, арабского языков не исключает глубокого понимания теми или иными католиками или мусульмана-

ми Библии или Корана), то со временем он, наоборот, превратился в своего рода барьер между народом и Словом Божиим. На современный русский язык Библия была переведена лишь около ста лет назад; таким образом, если может идти речь о христианизации России, то о евангелизации нашей страны и населяющих ее народов почти и говорить-то не приходится. Исключая отдельных христиан, каковые были на нашей земле в X, равно как и в XX веке, *русская масса в своей основе до сих пор почти не евангелизирована*. Когда же она пыталась "самоевангелизоваться", то, как и в других странах, это приводило к возникновению сект и ересей.

Прежде чем перейти к особенностям русского характера, следует оговорить, что в понятие "русские" я включаю все три ветви восточнославянского племени (белорусов, великороссов и украинцев) и всех, хотя бы частично (на уровне языка, быта, культуры, образа мышления, крови, даже только среды проживания), русифицированных представителей иных народов — в первую очередь, евреев, затем немцев, поляков, угро-финнов, кавказцев, татар и т.д., каковые неизбежно, хотя и незаметно для себя, наследуют — таково мое личное убеждение — основные архетипы русской "психеи", несомненно сочетающиеся в самых разнообразных структурах с собственными национальными архетипами и всем этим в целом постоянно обогащая "общерусский" или российский тип. Иными словами, под русскими в широком смысле слова я понимаю не только "белокурых-славян-великороссов-православных", как под американцами подразумеваются не только "белые-англы-саксы-протестанты".

Сделав такое вступление, остается объяснить, что же понимается под особенностями российского национального характера и душевного строя, вернее, какие их черты оказали влияние на формирование русской религиозности, русского благочестия и Русской Православной Церкви.

На мой взгляд, таких основных черт две. Первая — национальная специфика русской (или, если угодно, российской) души и характера заключается в *неумении идти средним путем*, в постоянном бросании в крайности. Это то, о чем писал в конце XVII в. тонкий наблюдатель России,

хорватский католический священник, предтеча позднейшего славянофильства Юрий Крижанич: "Не умеют наши (русские) люди *ни в чем держаться меры* и идти средним путем, а всегда плутают в крайностях и погибелях" ("Беседы о правлении")*. Эта черта, признаваемая и многими отечественными мыслителями, и иностранцами, связана, видимо, в том числе и с какой-то глубокой внутренней закомплексованностью, неуверенностью в себе, в свою очередь вызванной как раз предыдущим фактом позднего приобщения к христианству, т.е. и к мировой цивилизации. "Нет у нас природной бодрости (духа) и некой благородной и славной осанки или дерзости и воодушевления, чтобы с достоинством относились к самим себе и к своему народу", — восклицает с горечью тот же Крижанич. Именно поэтому, как мне кажется, россияне (из великороссов или украинцев, евреев или татар...), обращаясь к православию, готовы принимать его в любых самых косных и консервативных формах, подменяя живого Иисуса этнографизмом или культом Отцов Церкви, покорно принимая сергианскую (а вовсе не иосифлянскую, кстати) доктрину о подчинении любым властям, враждебность к инославным и страх перед новыми формами религиозно-церковной жизни, — иными словами, принимая традицию, они принимают ее, как правило, в крайней форме и некритически

Именно поэтому же россияне, не удовлетворяясь существующей формой церковности или осознав многие недочеты современной им Церкви, из-за того, как писать имя Иисус, могут уйти в раскол, или по любым иным причинам (и важным, и неважным) переходить в соседние исповедания христианства — только не оставаться там, где их поставил Господь, ибо последнее требует упорного, повседневного, незаметного и даже "серенького" труда.

Именно Россия дала наиболее яркие проявления религиозных самоубийств (самосожжение старообрядцев), которые оправдывались их апологетами именно нетерпением и жаждой решительных действий: "Как уже сгорел, ото всего уже ушел!" Иначе придется "и поститься, и кланяться, и молиться; а если в огонь — тут и все покаяние: ни

* Юрий Крижанич, "Политика", М, 1965, с. 496

трудись, ни постись, разом в рай вселись; все-то грехи очистит огонь” (Старец Ефросин, “Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей”, 1691 г.). И наконец, только Россия породила такое явление, как христианская (!) секта скопцов.

Вторая черта, на мой взгляд не менее важная, берет начало в специфике славянской общины с ее всеобщим равенством (в отличие от романской и германской, где изначальное неравенство требовало тщательной кодификации внутриобщинных отношений). Этот фактор в дальнейшем обусловил недоразвитость в восточнославянских обществах таких понятий, как общественный договор, права личности и т.д. Нас интересует здесь следующее: *аморфность общественного сознания и неразвитость идеи личной ответственности* (перед Богом за общество и перед обществом за Бога и ближнего). Отсюда опять же легко осуществляемый уклон в некритический традиционализм или любую форму инославия, с одной стороны, с другой же стремление подменять личные отношения со Христом внутри своей Церкви (а всякие личные отношения подразумевают и известный юридикализм и ответственность) эстетизмом, обрядолобием, “красотой”, утонченностью - в том числе и утонченным аскетизмом, либо любым “идеологизмом”, будь то защита старины, восхищение римской вселенскостью или протестантской общинностью.

Под особенностями православия вообще я разумею в данном случае а) отсутствие замкнутой догматической (можно даже: рационализированной) системы; б) отсутствие единоначалия в Восточной церкви, существующей, несмотря на всеобщее признание первенства за константинопольским патриархом, в виде целого ряда Поместных Церквей. Оба пункта имеют и свои сильные, и свои слабые стороны. Будучи православным, я верю в эти сильные стороны, вижу их и принимаю. Будучи православным же, я не могу не отметить и слабых сторон этих пунктов, тем более, что именно они, как мне кажется, повлияли на современную кризисную ситуацию в РПЦ.

Отсутствие четкой догматической системы может приводить - и приводило в Византии, и трагически привело в России - к путанице в вопросе о том, кому принадлежит

высшая административная и даже догматическая власть в Церкви — патриарху, синоду, архиерейскому собору или вообще императору. Я говорю не о том, что эта сфера в православии не разработана, а о частных конкретно-исторических разрешениях проблемы.

Отсутствие единоначалия в сочетании с предыдущим пунктом может вести — и приводило — к "национализации" Церкви, к отождествлению церковности и народности, следствием чего явилась *беззащитность поместной церковной иерархии перед "поместной" национальной светской властью*, пусть даже и именуемой христианской. С другой стороны, здесь всегда таится еще и та опасность, что как только на очередном зигзаге истории народ удастся убедить, что его "народность" в ином, как Церковь лишится большинства своих членов.

Под особенностями русского православия, в частности, я разумею: а) изначальный довольно сильный раскол Церкви и мира в стране — утонченный византийский аскетизм монашества в полуязыческой массе; б) вследствие потери независимости при татарском иге — быстрая "национализация" веры и Церкви, отождествление православной церковности с русской народностью; в) вследствие Флорентийской унии 1439 г. и падения Византии греки начинают рассматриваться на Руси как наказанные за отступничество и падшие, так что светильник подлинного благочестия стал признаваться только за Россией. Церковь у нас окончательно становится национальной, а следовательно, попадает в зависимость от национальной светской власти; тот факт, что РПЦ активно поддерживала княжескую власть в борьбе против Орды и за национальное единение страны, постепенно глубоко закрепляет традицию подчинения Церкви христианизированному русскому кесарю. А если он дехристианизируется?.. г) отсюда возникновение соблазнительной теории о "Москве — Третьем Риме", т.е. о России как о единственной хранительнице христианского правоверия, которая в конечном счете служила лишь дальнейшему усилению светской власти, понимавшей теорию все более однобоко, так сказать "по-мусульмански": "Если Москва все равно Третий Рим и Четвертому не быть, то остается лишь хранить, что есть да присоединять,

хотя бы и насильственным путем, к числу заведомо спасенных россиян новые земли и новые народы — для их же блага” (следует оговорить, что это не цитата, а моя собственная интерпретация); д) в результате всего вышесказанного князь официально, почти канонически становится земным покровителем русской Церкви, а РПЦ начинает зависеть от него целиком и полностью. И хотя совершенно понятно, что причиной этого была сложная историческая ситуация, а также что подобное положение складывалось далеко не только в России, наши сердца болят за нашу Церковь, и речь идет именно о ее нынешнем кризисе. Очевидно главное — на деле и небесным, и земным покровителем Церкви может являться и реально является только Иисус Христос.

Наконец, об особенности вопросов, волновавших Русскую Церковь и русское общество. Следует прежде заметить, что, возможно, вопросы, о которых пойдет речь, занимали и другие Поместные Церкви, как западные, так и восточные. Мне неведом круг проблем, казавшихся жизненно важными для христиан Кипра, Португалии, Эфиопии или Австралии. Однако мне думается, что подобно тому, как каждому человеку присущи только его болезни, комплексы, переживания, фобии, только его индивидуальные ”проклятые вопросы” или интересы, так и каждый народ во Вселенской Церкви избирает вольно и невольно свой определенный круг проблем, в рамках коего и развивается его религиозное творчество.

Лично мое мнение таково, что для России и россиян самым волнующим, даже мучительным вопросом был вопрос о соотношении Церкви и мира, причем, именно в силу той самой нашей национальной склонности к крайностям, в решении этого вопроса преобладало то отрицание мира, то отрицание Церкви. Вопрос о соотношении Церкви и мира в целом, и более узко — церковной и светской властей, — особенно ярко был проявлен в полемике между иосифлянами и заволжскими старцами (XV-XVI вв.), хотя понимался достаточно остро уже и в XIV в. (учение инока Акиндина о реальности власти князя над епископом, спор митрополита Киприана с Дмитрием Донским). Борьба стяжателей и нестяжателей, полемика Курбского с Иоанном

Грозным, патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем — “что выше священство или царство”, — старообрядцев с никонианами, поповцев и беспоповцев внутри староверия — все основные споры, раздиравшие русское общество в допетровский период, имели основным своим камнем преткновения вопрос о Церкви и мире, духовной и светской властях. В западной и полусекуляризированной петровской России этот же спор косвенно ощущается в полемике Феофана Прокоповича со Стефаном Яворским.

Не решенный по-настоящему русскими православными христианами до сих пор, этот вопрос явился причиной двух трагических явлений Санкт-Петербургского периода нашей истории, *прямо обусловивших современный кризис РПЦ*: а) окончательное подчинение “священства” “царством”, Церкви мирской властью, миром, ликвидация патриаршества и низведение духовенства до роли обычных государственных чиновников, к тому же еще и лишенных достаточных средств для нормального существования, что крайне подрывало авторитет РПЦ; б) образование в российском обществе новой квазирелигиозной секты (или “ордена”), объявившей в результате войну и царству, и священству — интеллигенции.

Итак, причины сегодняшнего тяжелого и кризисного положения Церкви в России, на мой взгляд, в том, что во время страшной всероссийской смуты XX века, пассивно тянувшейся и до сего дня, РПЦ не смогла, как в былые времена, сыграть роль духовного стержня народа как в силу многонационального, имперского характера всей страны (результат неправильно понятой миром доктрины “Москва — Третий Рим”), так и оттого, что ее авторитет в народе был чрезвычайно сильно подорван сведением церковного аппарата к одному из государственных ведомств; а также тем, что три последние века из Церкви уходили, по-своему решая вопрос об отношении к миру, в большом количестве весьма энергичные и полные сил люди (вначале раскольники, затем интеллигенция), причем и те, и другие обычно объявляли войну и светской, и духовной властям — надо признать, что победили они все-таки светскую. Причины этого ухода здоровых сил из Церкви, а также подчинения последней государству коренятся, как уже говори-

лось, в тех исторических, культурных и психологических факторах, о которых было написано выше.

В силу тех же самых причин РПЦ, как мне думается, не смогла и не может адекватно сопротивляться атеистическому хилиазму марксизма *как сила национальная*, но смогла и может сопротивляться ему, несмотря на самые страшные гонения, на подкуп и плененность, потому что является Телом Христовым, потому что в ней дышит Св Дух, т. е. как сила религиозно-мистическая.

3. Были ли в истории РПЦ времена, похожие на нынешнее время?

Если брать за критерий тот факт, что РПЦ была когда-то безусловным духовным стержнем для большинства населения в России, что православие было той закваской, на которой создавалась и русская культура, и русская общественность, и русская государственность, то, наверное, надо признать, что ситуация, подобная сегодняшней, имела место в истории России и РПЦ только в X и XI вв., когда подавляющая масса населения страны, как и сейчас, была и не христианизирована, и, тем более, не евангелизирована.

В каком-то смысле так и есть попытка компромисса с язычеством ("христианские царства" константиновской эпохи) закончена, ситуация вернулась "на круги своя", и РПЦ, все же гораздо более влиятельная и обогащенная опытом, чем в X-XI вв., имеющая национальные корни и значительно преобразившая за эти десять веков духовный, культурный и социальный климат страны, должна теперь продолжать работу по евангелизации народов России без поддержки каких бы то ни было внешних земных институтов.

С другой стороны, и когда РПЦ безусловно была национальной Церковью для большинства населения страны, в ее истории бывали достаточно кризисные времена "Приведут ко мне мужика (ставиться в попы или диаконы), жалуется на состояние Церкви в XV в старший современник св Иосифа Волоцкого новгородский епископ Геннадий, – я велю ему Апостол дать читать, а он и стунить не умеет, велю Псалтырь дасть, – и по гому еле бредет. Я ве-

лю хоть ектениям его научить, а он и к слову не может пристать: ты говоришь ему одно, а он — совсем другое. Велишь начинать с азбуки, а он, поучившись немного, просится прочь, не хочет учиться... А если отказаться посвящать, мне же жалуются: такова земля, господине: не можем найти, кто бы горазд был грамоте..." (цит по: П. Милуков, "Очерки по истории русской культуры", т.2. Спб, 1899, стр. 17). В следующем веке один из основных авторов теории "Москва — Третий Рим", старец Елеазарова монастыря Филофей, пишет, что "Русия царство аще и стоит верою в православной вере, но добрых дел оскудение и неправда умножися... Все уклонишася вкупе" (Послание к Великому князю Василию Ивановичу). О вопиющей безграмотности и духовенства, и мирян свидетельствует Стоглавый Собор 1551 г.: "Ставить хотящих во дьяконы и в попы ставитися, а грамоте мало умеющих, для святителей сопротивно священным правилам. А если не поставит, то святые церкви без пения будут, а православные христиане учнут без покаяния умирать... (А если спрашивают) почему мало умеют грамоте, они ответ чинят: "Мы де учимся у своих отцов или у своих мастеров, а больше нам учиться негде: сколько отцы наши и мастера умеют, по тому и нас учат". А отцы их и мастера их и сами потому мало умеют и силы в божественном писании не знают, что учиться им негде. А прежде сего в российском царствии на Москве и в великом Новгороде и по иным городам многие училища бывали" (Стоглав, гл. 25). Скажут, что эти примеры свидетельствуют в основном о низком уровне церковной образованности. А разве это не первейшее и не очевиднейшее свидетельство кризиса? Кроме того, "Стоглав" вообще рисует далеко не радужную картину состояния РПЦ; вспомним, что именно в этот период ее первоиерарх св. Филипп принял мученический венец от убийц Грозного и Скуратова, до самого конца не отступив перед мирской властью в обличении ее зла и неправды. В следующем, XVII, в. мученичество принимает в Смутное Время уже патриарх (св. Гермоген); кроме того, это век церковного раскола, а в Юго-Западной Руси — насильственного насаждения униатства (я имею в виду не тех, кто принял унию добровольно, а именно то, что сказал). Эти же процессы происходили и в Северо-За-

падной Руси: известно, например, что полоцкий архиепископ Иосафат Кунцевич силой отбирал церкви у православных, подвергал аресту священников и требовал запрещения всяческих "сборищ" православных под тем предлогом, что они собираются не для молитвы, но для обсуждения мятежных действий против правительства (аналогии очевидны). До 1632 г. РПЦ в Речи Посполитой даже не признавалась легальной.

Гонения на Русскую Православную Церковь "просвещенным абсолютизмом" Екатерины, а до нее Петра, общеизвестны, равно как и бедственное положение РПЦ в XVIII столетии в целом. Необязательно даже обращаться к историкам; подлинные представители российской культуры конца XVIII — начала XIX вв. прекрасно осознавали все зло и всю пагубу для страны этих притеснений. "Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени, — писал А.С. Пушкин. — Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии... Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер" (А.С. Пушкин, "Заметки по русской истории XVIII века", ПСС, в 6 тт., т. 6, М., 1959, с. 10).

Можно было бы привести гораздо более систематизированные и разнообразные высказывания, но это не научный трактат. В истории РПЦ были времена, похожие на нынешние: в целом — в начале истории христианской Руси; в частности — от времени до времени на протяжении почти всей ее истории.

4. Если были, то каким образом РПЦ смогла преодолеть и выстоять времена неблагоприятные?

В каждой конкретной кризисной ситуации были свои конкретные пути выхода из кризиса. Однако они станови-

лись до конца ясны лишь со временем – потомкам. Видимо, есть и какие-то конкретно-исторические пути преодоления и нынешнего кризисного состояния РПЦ; о них прочтут в учебниках или напишут сами наши правнуки.

Если же попытаться найти более общий ответ, то мне кажется, что РПЦ, как и всякая иная Поместная Церковь, с одной стороны, всегда имеет потенциальную возможность обновления благодаря животворящему ее Св. Духу, а с другой – это обновление становилось действительным и времена неблагоприятные преодоленными, когда РПЦ, несмотря на, казалось бы, безвыходное положение, продолжала "приносить плод в терпении" (Лк. 8, 15), стремилась поверх всех политических и идеологических систем и теорий (в том числе и своих собственных) твердо и спокойно созидать в своих детях внутреннего Христа, соработать Христу в деле преобразования и обожения мира.

Иными словами, Церкви вообще и РПЦ в частности тогда удавалось преодолеть внутренний кризис, когда она поднималась высоко над заботами века сего и вновь заглядывала в глаза Иисуса, вечно устремленные на нее как на Свою Невесту и на каждого ее члена как на Своего Сына.

Этот ответ может показаться со стороны довольно-таки абстрактным, но для меня он более чем конкретен.

5. Если, на ваш взгляд, обстановка неблагоприятна, что вы предлагаете?

Это очень хороший вопрос. Дело в том, что люди часто склонны относиться к подобного рода вопросам полу-иронически – "что, мол, от нас зависит!" На самом же деле каждый действительный христианин обязан иметь альтернативное решение современному кризисному положению, решение обдуманное, пережитое, пропущенное "через себя" и осуществляемое всей своей жизнью. Когда нас спрашивают, что мы предлагаем, не надо думать, что раз наше мнение не примет немедленно на вооружение патриарх или архиерейский собор, то оно не имеет никакого значения. Оно имеет огромное значение – для нас самих, а может быть, и для некоторых наших братьев по вере, умеющих прислушиваться к чужим мнениям.

То, что предлагает каждый из нас, он предлагает в первую очередь самому себе. На большее не претендую и я, хотя готов выслушать встречные мнения и постараться совместно прийти к общему решению.

В настоящее время перед РПЦ стоят весьма остро две задачи, поставленные не столько известным кризисом, сколько временем вообще.

Первая из них — задача по формированию активной христианской общины. Время отождествления православия и русской народности (к счастью или к несчастью, не знаю) кончилось. Мирская власть в стране открыто именуется себя антихристианской, лишив Церковь своей традиционной поддержки. РПЦ, всегда привыкшая опираться на местную национальную власть, не знающая иных традиций, кроме цезарепапийских, отныне оказалась предоставленной сама себе, да еще в лапах враждебной и агрессивной структуры. И вот именно в этих тяжелых — но далеко не безнадежных — условиях и должна теперь РПЦ перестраиваться внутренне, вновь обретать действенность и энергию, требуемые от каждого свидетеля о Христе. Сейчас эта перестройка только начинается; в этом смысле мы живем в некотором "пересменке" (отсюда и кризис), который, несомненно, минует. Привыкшая полагаться на светские общественные институты христианизированного кесаря, РПЦ не развила в себе дух общинности, свободного общинного самоуправления, необходимого для достойного, активного и спокойного самостоятельного существования. Католичество в общем представляет собою одну наднациональную (хотя и категорически не антинациональную), четко организованную общину верных; протестантизм, наоборот, распадается на множество мелких самоуправляющихся, не менее четко организованных общин; православие же традиционно оставляло мирскую, социальную сферу за христианизированным государством — особенно это относится к РПЦ, к России с ее пристрастием к крайностям и глубоким расколом между Церковью и миром.

Означает ли это, что православие чем-то "хуже" перечисленных выше братских конфессий? Ни в коем случае. Плоды православной духовности — в том числе российской, русской — достаточно очевидны, чтобы тратить время

на их доказательство. Пусть те, кто их отрицает или подвергает сомнению, заглянут в собственную душу: там, а не в православном исповедании христианства отыщут они причины этого неприятия. Наоборот, сейчас перед православием открывается — хотят того или не хотят иные излишне ретивые ревнители старинного благочестия и благолепной пассивности и косности — новая чудесная страница активного религиозного творчества в социальной сфере. Тем более, что РПЦ все равно превратилась в одну из религиозных общин, пусть даже до сих пор самую крупную в государстве.

Таким образом, лично мое мнение таково, что будущее в РПЦ — за христианством активным и деятельным, так сказать, за "православными-инициативниками" (как есть "инициативники" баптисты и адвентисты, хотя наименование это, конечно же, условно). Но деятельность и активность, во-первых, ни в коем случае не должны подменять внутренней душевной и духовной работы, умного делания, созерцательной и мистической жизни. Речь может идти лишь о гармоническом сочетании обоих видов деятельности. Деятельность и активность, во-вторых, должны быть направлены не слепо вовне и уж тем более не на политическую борьбу (здесь я совершенно не согласен с бывшими установками о. Дм. Дудко, хотя и продолжаю уважать его как борца и после его телепокаяния). На что же должны быть они направлены? *На внутрицерковное строительство.*

Поскольку вопрос о роли епископов, священников и мирян задан отдельно, будет достаточно ограничиться лишь объяснением, что под всем этим имеется в виду конкретно. Представляется реально осуществимым, безопасным (при достаточном уме и осторожности), действенным и весьма быстро приносящим плоды путь созидания многочисленных мелких общин *активных мирян*, находящихся в контакте с одним или несколькими священниками, а через них, может быть, и с отдельными епископами. В зависимости от личностных особенностей их организаторов или участников эти общины могут насчитывать от трех до двадцати человек; каждый их участник и участница должны вести регулярную и интенсивную личную церковную жизнь, иначе пропадает смысл таких общин (посещение богослужения,

ежемесячное причащение и исповедь, напряженная молитвенная жизнь, самообразование в интересующей церковной сфере, какая-либо индивидуальная работа для Церкви и конкретно своей общины). Чрезвычайно важно, чтобы эти малые общины были не просто собраниями "христианских активистов и активисток", но и — не боюсь этого слова — тесными и дружескими компаниями. Разумеется, речь опять же идет не о подмене общинности "компанейскостью", а братских трапез дружескими пирушками, но о том духе подлинно братской любви, который приводит к тому, что люди постепенно просто не могут не видеть друг друга, не собираться во имя Христа, не идти вместе по жизни, не делить сообща и радости, и горести, и даже "серую" повседневность ("цвет" повседневности, кстати, тоже зависит от нас самих). В нашей стране законодательно и в нарушение элементарных норм законности и свободы совести запрещено верующим вести молитвенные собрания, библейские и любые другие кружки и группы (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 1929 г. "О религиозных объединениях"). Но никто не может запретить друзьям собираться, хотя бы и регулярно, никто не воспрещает компании близких людей посвящать какое-то время совместной молитве или совместному чтению и толкованию Писания.

Эти общины призваны не заменять собою церковно-приходскую жизнь, но дублировать ее, поскольку последняя в настоящее время пока что не может развиваться свободно. Иначе говоря, эти малые общины — не "альтернатива нынешней Церкви", но сама эта Церковь; они должны существовать с ведома и благословения священства, а по возможности и епископата. Впрочем, последнее — дело будущего, и особенно гнаться за этим не следует.

Хорошо также, если каждая из этих общин со временем поставит перед собою какую-либо определенную цель (специализация), а также если каждый или почти каждый член такой общины будет ходить и еще в какую-нибудь (взаимосвязь между общинами) — все это будет способствовать созданию одновременно и плюралистического и единого в главном церковного организма, постоянно обогащающего самого себя. Кроме того, это создаст действенную и живую среду для поступательного роста православ-

ных кругов (роста и вверх, и вширь, и вглубь), среду, само существование которой облегчит и христианское формирование наших детей, и приобщение к Церкви новых людей извне, и возможность тайно, но эффективно воздействовать даже на общественную жизнь. Христиане *обязаны* составить "всемирный заговор" — "против духов злобы поднебесных" (Еф. 6,12) и князя мира сего, который окончательно ныне "изгнан будет вон" (Ин. 12, 31).

Само собой разумеется, новокрещенный не обязан "сломя голову" бросаться в "общественную деятельность". Существует множество человеческих типов, характеров, особенностей; дело лишь в том, что Церковь существует тогда, когда христиан двое или трое... И пока личность не решит как-то свои индивидуальные отношения с Богом и ближними, с Церковью и традицией настолько (ибо решать их приходится всю жизнь), чтобы стать способным выходить на проповедь и труд, не может быть разговора о положительном участии в строительстве Православной Общины. Дух любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия ни в коем случае не может подменяться соблазном "общего дела", трудная и трезвая глубина соборности — сомнительной привлекательностью "православного коллективизма".

Вторая задача, вставшая сейчас вообще перед мировым христианством, а следовательно и перед РПЦ, как частью Апостольской Церкви, определяется посредством всего двух слов: "церковное единство". Я подчеркиваю: не объединение, а единство. Все попытки унии между Западом и Востоком (во всяком случае, что касается РПЦ) терпели неудачу. Это оттого, что всякая уния есть явление внешнего характера, тогда как подлинное объединение может быть только *внутренним*. Нельзя не согласиться с мнением папы Иоанна-Павла II о том, что "единение христиан осуществляется не иначе, как через глубокое созревание в истине и через постоянное обращение сердец" ("Символ", № 4*, с. 113). Именно поэтому сказано: не объединение, а единство. Ибо Церковь будет объединена лишь тогда, когда окончательно осознает себя внутренне единой. Осознавать

* Ст 17 "в" (СУ РСФСР, 1929, № 35, ст 353).

себя членом единой Святой Соборной и Апостольской церкви, постоянно переживать и ощущать это религиозно в своем сердце, свидетельствовать об этом единстве перед своими братьями по вере, твердо бороться со всяким духом самозамыкания, разделения, отпадения или недоверия — в этом, по моему мнению, состоит сейчас священный долг каждого христианина.

Этот вопрос чрезвычайно сложен: еще и потому, что искусственно усложняется. Дело в том, что среди российских православных в силу ряда уже упомянутых особенностей мышления и характера бытуют две крайности. И, как всякие крайности, они обе неверны...

Одни православные братья наши под лозунгом охраны предания и церковной самобытности всячески отстаивают изоляционизм РПЦ и ее замкнутость на самой себе. Все прочие исповедания, даже братская Западная Церковь (а для некоторых — даже прочие православные церкви) объявляются ими враждебными или даже еретическими. Вся аргументация таких людей строится на системе натяжек, умолчаний или на обыкновенной безграмотности; все, что они принимают за чистую монету, давно было подвергнуто критическому разбору и изжито передовыми русскими иерархами, богословами, церковными публицистами и историками уже к концу XIX в., и тем более в нашем столетии (назовем хотя бы трезвый анализ разделения Церквей в 1054 г. проф. М. Поснова в его книге "История Христианской Церкви"*).

Характерно, что эти наши братья, крепко замыкая "двери православия", чтобы к ним не проникла никакая свежая струя, зачастую сводят свое христианство к соблюдению буквы, устава, какой-нибудь второстепенной традиции (иногда даже и не традиции вовсе!). При подобной позиции часто отрицается богословское образование, деятельность в миру, иногда культура вообще. При подобной установке, снимающей ответственность за мир, неудивительно, что РПЦ как бы "терпит крах" в мирской сфере. Перед нами все тот же российский комплекс вражды к миру — то

* Париж, дек 1980; "Встреча папы Иоанна-Павла II с французской молодежью".

есть самое настоящее монофизитствование. И при этом в еретичности подобные "монофизиты" всегда склонны обвинять других.

Другие, еще только вчера придя в православие (гораздо реже: прожив в нем много лет) и натолкнувшись на явно кризисную современную ситуацию, выбирают вторую крайность и переходят в католичество. Православие скоро становится для них "безблагодатным". Я твердо разделяю убеждение, что эта категория ничем не отличается от предыдущей. Обе группировки ведут к разделению и вражде, к бессмысленной трате энергии, сил, людей. Во втором случае слишком уж явственно просматривается "печоринский комплекс" ненависти к России*, которым, быть может, и должны переболеть мы все, но лишь для того, чтобы пережить и изжить его, чтобы выздороветь и переходить к созидательному труду единения, а не вносить новые зерна вражды и разделений.

Обвинять какое бы то ни было христианское исповедание в "безблагодатности" — это и есть самое настоящее богохульство, хула на Духа Святого.

Иисус призвал нас к Себе в России, через ту Поместную Церковь, которая здесь существует. История показала, что всякие попытки "привить" дерево католичества на русской почве не только оказывались безуспешными, но и — в тех случаях, когда частично удавались, — часто были насильственными и сопровождались разрушением русского национального типа (полонизация русин, мадьяризация карпатороссов). Быть принятым в российскую поместную общину Единой Вселенской Церкви и перейти затем в "юрисдикцию папы" — не означает ли отрицать за этой поместной общиной ее причастность к Единой Церкви? Если так, то эта позиция несет в себе свое собственное опровержение, поскольку дает печальную возможность любым другим людям отрицать причастность к Единой Церкви всей римской юрисдикции или хотя бы тех же самых ренегатов из православия.

Такая позиция непоследовательна еще и потому, что как раз наносит жесточайший удар делу единения Церквей

* Брюссель, 1964.

ведь если все православные, ощущающие свое единство с Западной Церковью, будут решать проблему путем формального перехода, формальной смены юрисдикций (и если так же будут поступать все католики), то вместо единения будет осуществляться вечное "переливание из православного в католическое" и обратно.

Конечно, бывает, что человек вследствие тех или иных причин может испытывать "острую боль" от того, что за литургией не поминают "Иоанна-Павла, папу Римского", он может принципиально желать читать открыто Символ веры с филиокве и признавать причастие действительным только на пресном хлебе. Наконец, человек может иметь сколь угодно много психологических или идеологических причин для перехода в католицизм. И вообще, в конечном счете это его право. Но точно такие же идеологические, догматические и психологические предпосылки мы можем найти и у представителей первой крайности. Наконец, я прямо считаю, что сведение всего многообразия Церкви к одному типу благочестия, богомыслия и организации есть обеднение и в этом смысле искажение замысла Иисуса Христа о нас.

Владимир Вейдле писал: "Россия станет вновь Россией, только сделавшись снова европейской страной" ("Безымянная страна", Париж, 1968, с. 21). Перефразируя это высказывание, можно было бы продолжить: российские христиане вновь станут детьми Единой Церкви, только сделавшись снова по-настоящему православными. И наоборот: сделаются по-настоящему православными, лишь став внутренне детьми Единой Церкви.

Наша цель — воссоединение Православной и Католической Церквей, а не присоединение пусть даже большинства православных к римской юрисдикции. Во всяком случае, я понимаю эту проблему так. И считаю, что это самое воссоединение должно прежде всего осуществиться в сердцах каждого православного и католика. Признавая за нашими православными право и на ту, и на другую крайность, я не могу в то же время не считать эти крайности крайностями и лично для себя склонен твердо проводить в жизнь средний путь, намеченный в ответной речи Вселенского Патриарха Димитрия I папе Иоанну-Павлу II:

”... началась новая эра в развитии братского общения между двумя Церквями... Мы вступаем в новую эпоху, эпоху официального богословского диалога между Римско-Католической и Православной Церквями... Является ли этот диалог между Римско-Католической и Православной Церквями, начало которого мы сегодня благословили, нашей конечной целью? Отвечая на этот вопрос, мы оба можем сказать: — нет. Более того, мы можем сказать, что нашей главной и конечной целью является не только единство наших двух Церквей, но и единство всех христиан в одном Господе и в одной Чаше” (“Символ”, № 3*, с. 145)

6. Какова на сегодня роль мирян в Церкви? Священников? Епископов?

МИРЯНЕ. По всей видимости, традиционному разделению церковного народа на активных пастырей и пассивную паству пришел конец. Изживает себя и традиционная система приходов. Сейчас в РПЦ вернулось и возвращается очень большое число ее детей. В основном это люди, принадлежащие к образованному слою, в возрасте от двадцати до сорока лет. Они не могут официально поставить в известность общественность о своей религиозной принадлежности, так как это лишит их возможности учиться и работать на прежних местах. Поэтому эти люди не имеют возможности сочетать официальную работу на службе с официальной церковноприходской работой. С другой стороны, руководство любого прихода состоит в основном из пожилых женщин, далеко не всегда единодушных с пришедшими и даже доброжелательных к ним (хотя бы в силу возрастного и образовательного ”ценза”). Со временем это положение, конечно, изменится, но сейчас оно таково Мы безусловно должны стремиться ”наполнять собою” существующие приходы, но в нынешних условиях этого недостаточно — таков смысл слов, что традиционная, прежняя система приходов себя изживает: на ее основе требуется не-

* Париж, апр 1980. ”Встреча папы Иоанна-Павла II со Вселенским Патриархом Дмитрием I”.

кое активное обновление, действенная внутренняя перестройка (а ни в коем случае не разрушение).

Можно обратиться за историческим примером опять же к истории Западной Руси. Когда часть мирян и священства, большинство архиереев и многие монахи приняли там Брестскую унию с Римом, значительный процент православных не захотел к ним присоединиться. В эту ситуацию были привнесены чисто политические, человеческие моменты, и православные Западной Украины и Белоруссии стали подвергаться гонениям. Именно тогда заботу о возрождении православия, о распространении и печатании книг, подготовке и содержании хороших проповедников и богословов, всю культурную работу, а также самозащиту — а она может осуществляться лишь в полной солидарности — взяли на себя западнорусские церковные братства. Вот что пишет о них известный историк Западной России М.В. Довнар-Запольский:*

"... Братства — явление очень старое, едва ли не коренящееся в обычаях древней Руси. На Руси существовало обыкновение, в силу которого союзы, корпорации соединялись в какие-нибудь праздники; в эти праздники такое братство собиралось в общее собрание, причем готовилась братчина, т.е. мед, распитием которого заканчивалось собрание, а воск отдавался на братскую церковь. Повидимому, под братчиной разумелись союзы для разнообразных целей, в том числе и религиозных; повидимому, братский праздник был иногда просто праздником целой сельской или городской общины, или цеха. Но к концу XVI века западно-русские братства, по примеру старейшего из них Львовского, возродились... Братчики делали в братство известные взносы, собирали деньги, недвижимые имущества. Целями братства были поддержание веры и единение в среде братства. В них не было деления на сословия, и родовитый шляхтич за братской трапезой или на братском собрании ни в чем не имел особых преимуществ перед бедным сапожником. Братства заботились о распространении образования, заводили школы, устраивали типографии. Они

* Так в получ копии; следует читать "Вот что пишут о них М В Довнар-Запольский и Д.З. Шендрик"

поддерживали ученых проповедников и писателей... Желая иметь духовенство соответственно своему религиозно-нравственному настроению, братства стремились к устройству собственных церквей... так как право патроната давало им возможность избирать священников по собственному желанию. Братства также стремились к получению от патриарха ставропигии, т.е. освобождения от епископской власти. Братства таким образом явились "яко щит некий в помощь самой церкви", как выражается грамота александрийского патриарха Мелетия. Это — очень верная характеристика. Но надо заметить, что стремления братств к самостоятельности часто вызывали отпор в среде духовных иерархов... Почти при всех этих братствах были школы, а при некоторых... и типографии" ("Россия. Полное географическое описание нашего отечества", под редакцией В.П. Семенова, т. IX*, с. 99-100).

Подобные братства вновь стали возрождаться у нас в XIX и особенно XX веках — свидетельство, что уже тогда миряне начали осознавать свою активную и ответственную роль в Церкви (об этом подробнее смотри в "Вестнике Русского Христианского Движения", № 131**).

Приводя эти примеры, я вовсе не имею в виду буквальный перенос былых исторических реалий в наши времена. Я лишь хочу сказать, что активные организации мирян вполне присущи российской православной традиции. И более того. Даже если бы они и не были ей присущи, сейчас настали времена, когда они необходимы.

Несколько выше уже писалось о том, что понимается под подобными братствами в наши дни — малые общины деятельных мирян, пребывающих в постоянном контакте с приходским духовенством и через постоянное участие в таинствах — со всей Церковью. Выше подчеркивалось и то, что эти активность и деятельность должны сочетаться с созерцательностью, молитвой — с внутренним деланием. Да

* Гл 4 — "Исторические судьбы Верхнего Поднепровья и Белоруссии и культурные их успехи М В. Довнар-Запольского и ДЗ Шендрика"

**1980; ср Н Шеметова "Православные братства (1917-1945 гг)", с. 147-181

иначе и никакая внешняя деятельность не будет получаться, или заведет совсем в другую сторону, так что "вызовет отпор в среде духовных иерархов".

Мы, миряне, — не просто "прихожане". Через таинство миропомазания мы получаем сан мирянина, св. апостол Петр ко всем нам обращает свои огненные слова: "Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет" (1 Пет. 2,9). И в соответствии со всем этим у мирян есть особая миссия в Церкви.

Прежде всего — именно на нас возложена непосредственная задача по христианизации мира. Настало время совершенно прямо говорить об *апостольстве мирян* Русской Православной Церкви: мы члены Апостольской Церкви не только в смысле того, что она сохраняет апостольскую преемственность, но и в том, что наше прямое предназначение — быть апостолами.

"Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5,16) — сказал наш Господь. "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам" (Мф. 28, 19-20) — эти слова давно уже относятся не только к священству и епископату, нет, всех нас Иисус послал и посылает "проповедовать Царствие Божие и исцелять больных" (Лк. 9,2), хотя понятно, что в евангельском контексте применительно к апостолам все эти выражения имеют совершенно особый, уникальный смысл.

Что же понимается под апостольством мирян? Миряне должны: а) свидетельствовать о Христе в миру; б) быть орудием Церкви в миру. Постоянный и действенный контакт с пастырями необходим как раз для последнего.

Под внутренним деланием каждого мирянина понимается необходимость: а) исследовать Писания (Ин. 5,39) и Предание, постоянно и планомерно самообразовываться в церковных и богословских дисциплинах под водительством опытных наставников (в том числе и воспитанных в своей среде) и высококачественных пособий, каких немало было издано у нас до революции и немало издается

сейчас обеими Церквами за рубежом; б) постоянно бодрствовать и молиться (Лк. 21, 36), трезвиться (1 Пет. 5,8), приносить плоды духа (Гал. 5, 22-23) в терпении (Лк. 8, 15), вообще неустанно и сознательно *употреблять усилие* в своей религиозной жизни (Лк. 16, 16; Мф. 11, 12).

Мы можем также говорить о своего рода *пастырстве мирян* — все мы должны стремиться стать хорошими проповедниками в прямом смысле этого слова и просить у Бога дар мудрости (Мф. 10, 16), чтобы быть достойными свидетелями о Христе и иметь возможность на высоком духовном уровне помогать другим приходить в Церковь и решать свои внутренние проблемы. А для этого прежде всего требуется сострадание и жертвенная любовь.

Под внешним деланием каждого мирянина понимается необходимость а) строить внутрицерковную общинную жизнь вместе с духовенством, помогать в этом священнослужителям, быть их деятельными "агентами" в миру; б) участвовать в самостоятельной внутриобщинной работе, сознательно и направленно отдавать себя и свои душевные силы братьям и сестрам во Христе; в) используя свои знания, трудиться и для Церкви, и в миру (в целях его конечного преобразования в духе Христа) там, где призваны и поставлены (1 Кор. 7, 20), и при этом всегда быть не от мира. Лично мне не близка позиция иных братьев, которые после принятия христианства сознательно бегут от мира в сторожа, лифтеры и т.д., хотя ничье право на подобные поступки оспаривать я, естественно, не берусь; г) вообще евангелизировать мир через наши повседневные занятия и заботы, наполнять светом Иисуса Христа и Его Духом быт, социум, культуру...

На первый взгляд, это педантичное изобилие пунктов может вызвать протест. Но я убежден как в том, что мы *обязаны* ставить перед собой как можно более высокие и разнообразные цели, так и в безусловной выполнимости всех пунктов. Естественно, что все это при условии активной христианской позиции. Если для человека христианство — просто мода, или если он ходит в храм и участвует в таинствах раз в полгода, если не знает вообще, что такое правильная индивидуальная молитва, то о какой его "деятельности" может идти речь? Да и христианин ли он вооб-

ще? Ведь первейшая наша деятельность — участие в литургии (что, кстати, и означает по-гречески "общее дело", "общественное служение").

Важно сказать и еще об одном аспекте. В наши дни мало кто приходит к Богу через традицию и авторитет. Приходя к Христу, человек обычно сталкивается с Ним в глубинах своего сердца, а потом уже закрепляет свою веру через авторитет Церкви и укореняет ее в существующей традиции. Вот почему мы, как мне кажется, на первое место ни в коем случае не должны ставить обрядность или национальную традицию, хотя я ни в коей мере не выступаю ни против того, ни против другого. Не буква, а дух, не внешние формы благочестия, а личный контакт с Божественной Личностью, постоянно выверяемый с помощью духовника — вот что должно быть основой внутренней жизни всякого деятельного мирянина. А вся его внешняя жизнь, именно *вся*, должна быть ответом на Божий призыв. Могут возразить, что это требовалось от наших мирян во все времена существования РПЦ в истории. Это безусловно так. Но сейчас времена особые (они всегда особые!) — послеконстантиновская эпоха¹ — и требования должны быть повышенные. "Лучше больше да лучше!"

СВЯЩЕННИКИ. Какова сегодня роль священников в Церкви? Чрезвычайно важная и высокая. Священники — не просто "требоисполнители" и даже не просто совершители таинств, это в полном смысле слова *духовные наставники*. Совершенно очевидно, что для такой ответственной роли не достаточно только иметь веру и знать требуемые чинопоследования. Конечно, в каком-то смысле священник — слуга мирян по образу Христа, Который "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить" (Мф 20, 28). Но это лишь одна сторона его служения. Прежде всего он предстоятель перед Богом за мир, возносящий Ему приношения "от всех и за вся". Это та сторона, которой он обращен к Богу. Но священник — посредник между Богом и человеком, свидетель перед Богом духовного становления и духовной работы человека. Он неизбежно обращен также и к человеку и в этом смысле обязан быть подлинным пастырем душ. Никакая безбожная

власть, никакие беззакония и ограничения не могут ему служить в этом препятствием.

Являются ли сейчас наши священники в своем целом духовными пастырями общества? Многие бы ответили, что нет, не являются. Лично я с этим не совсем согласен. Какое бы ни было в настоящее время общее состояние приходского духовенства, оно, видимо, соответствует тем требованиям и запросам, которые предъявляются ему церковным обществом и обществом вообще. Повысятся запросы — повысится уровень духовенства в стране. Дело всегда не в "них", а в каждом из нас. Не в пастырях, а в народе.

Есть здесь и обратная связь. Вот почему отношение между мирянами и священниками я бы определил таким образом: они должны формировать нас, а мы — их.

Само собой разумеется, что священники всегда должны быть открыты мирянам и миру, они должны *хотеть иметь вокруг себя людей*, а не ждать пассивно, когда человек "приползет" в церковь. Если бы каждый священник сформировал вокруг себя группу близких ему активных мирян, пусть даже числом в три-пять человек — какая это была бы сила! Разумеется, это лишь первый шаг, но ни в коем случае не конечная цель. Для вышеупомянутого же требуется постоянно повышать свой уровень в апологетике, догматике и пастырском богословии и стараться, наверное, пребывать в регулярном общении с другими священниками.

Каждый священник *обязан* проповедовать; в наших же условиях, когда число и открытых храмов, и служащего духовенства насильственно удерживается небольшим, проповедовать должны были бы и дьяконы, и церковнослужители, и (по благословию) некоторые из активных мирян, что ни в коем случае не нарушает нашу традицию. Говорят, что в Римской Церкви каждый священник обязан ежедневно совершать евхаристию, даже если он и в одиночестве. Думается, что это замечательный и высокодуховный обычай, и нам, русским православным, следовало бы подумать о нем. Во всяком случае то, что он безусловно ведет к постоянному внутреннему росту священника, — очевидный факт.

Несколько выше писалось, что едва ли следует ста-

вить на первое место обрядность или национальную трагедию. Это не значит, что они не должны трезво и твердо стоять у нас на втором. И в этом священники остаются нашими учителями и водителями, с одной стороны, и слугами, помощниками — с другой. Малые общины активных мирян, о которых писалось, вообще всякие миряне необходимо пребывают в постоянной связи с духовенством, с послушанием принимая его советы и решения. Со своей стороны, и священники должны поощрять активную и самостоятельную деятельность мирян, направлять и развивать ее, формируя в нас чувство ответственности и перед собой, и перед Богом, и перед Богом в миру — Церковью.

ЕПИСКОПЫ. Роль епископов в сегодняшней РПЦ самая тяжелая. Епископы сегодня — это те князья Церкви, которые стоят между нею и безбожной властью, постоянно стремящейся Церковь подавить, поработить, в чем-то ущемить. Епископы — увы! — должны уметь лавировать, идти на компромиссы и уступки, руководствоваться соображениями стратегии и тактики. А ведь их противники и гонители — партия профессиональных политиканов и заговорщиков, основным принципом изначально провозгласившая беспринципность путей и средств. Понятно, что в таких условиях иным епископам бывает не до небесной премудрости — столь озабочены они овладением премудростью земной. Епископы — внешняя стена Церкви. Они и принимают на себя первый удар, именно их и пытается первым делом уязвить, разложить советская власть. И не всегда безуспешно. Уже говорилось о том, что власти за семь десятилетий удалось отчасти сформировать путем физического уничтожения, отбора, подкупа и постоянного давления требующийся ей "советский" тип епископа, о чем, в частности, писал еще в 1966 г. о. Всеволод Шпиллер (Письмо митрополиту Никодиму, март 1966; опубликовано в журнале "Россия и Вселенская Церковь", Брюссель, 1966-67, № 4 (70) и 1 (71), с. 57-84). Но не все наши епископы относятся к подобному типу. И явления такого рода в истории бывали не раз. Церковь их с успехом переживала: вспомним хотя бы Авиньонское пленение пап.

Мы можем только молиться за наших епископов, памятуя, что они рискуют потерять душу свою за нас.

Конечно, епископ остается и строителем церковной жизни в своей епархии; конечно, он должен стремиться всеми средствами обвести "вокруг пальца" уполномоченного по делам религий данной области и рукополагать все новых и новых священнослужителей; конечно, он должен стремиться быть блистательным и высокодуховным проповедником, а не просто сверкающим позолотой и источающим благоухание утонченным "князем", время от времени снисходящим до посещения приходов.

Но главное — епископ должен твердо знать, до каких пределов он отступает. Он обязан четко ощущать, где кончается кесарево и начинается Божие, и в случае, если кесарь требует себе последнее — быть готовым на мученичество. Однако сам я "в саккосе" епископа никогда не был и не считаю себя вправе говорить еще что-либо сверх того, что уже сказано. Единственное, что можно добавить, — это повторить: мы не имеем никакого права судить наш внешне пассивный и плененный епископат, поскольку не знаем, как бы сами вели себя на его месте; мы можем лишь ежедневно молиться о тяжелейшей миссии и судьбе наших архиереев. И помнить: христианство — религия Богочеловечества. Отдавая себя, епископы надеются не только на Христа. Они надеются и на нас. Оправдываем ли мы их надежды? Укрытые за их стеной, не просто ли отсиживаемся в уюте церковного полумрака и ароматах фимиама, фарисейски уверенные в собственной праведности и спасенности?

Что касается самого факта пассивности и плененности нынешнего епископата РПЦ, я склонен объяснять его как раз теми самыми причинами, которые изложены в ранее упомянутом целом ряде факторов российского прошлого.

7. Ваш взгляд на будущее Русской Православной Церкви?

Безусловно оптимистический. Как и всякую иную Поместную Церковь, "врата ада не одолеют ее" (Мф 16, 18). Христос с нами до конца времен. Даже если погибнет Россия — во что я, впрочем, тоже не верю, — РПЦ выстоит и будет существовать.

Но в то же время. если Россия, русский народ, рос-

сийские народы не вернутся к Церкви, никакого возрождения, обновления и освобождения России не произойдет. Все останется так, как есть, и даже еще хуже. Общество будет продолжать деградировать и нравственно, и физически. Ведь дело всегда в нас, а не в дурных властителях, даже если эти последние действительно дурны. А мы-то сами?

И хотя я верю в возрождение и воцерковление России в целом, можно сказать так: если что и останется из обломков России (в случае краха), то это будет Русская Православная Церковь.

Если говорить о непосредственном будущем, то уже сейчас видны симптомы преодоления кризиса. Это и массовый приток в Церковь свежих сил, людей, разочаровавшихся в ценностях, которыми жило в своем большинстве наше обманутое общество последние шесть десятилетий. Этот приток по-настоящему лишь начинается, и хотя многие идут в Церковь на гребне моды, даже если волна отхлынет, жемчуг останется. Если этот приток в Церковь будет столь же широк и глубок еще хотя бы десять лет — а остановить его может либо массовое гонение на верующих типа "ежовского", с физическим уничтожением и переполненными лагерями, либо резкое повышение материального уровня жизни в стране по типу США или Западной Европы, — то к концу столетия РПЦ будет, логически должна быть, одной из ведущих сил в нашем обществе. А сферам тайной деятельности христиан нет числа. Это и больницы, и детские сады, и школы, и суды. Наука и сфера обслуживания, искусство и литература. . Наша цель, цель российских православных — христианизировать незаметно и постепенно общество "изнутри"; в тех же слоях, контакт с которыми у РПЦ на данный момент утерян, аналогичную работу ведут баптисты и адвентисты. И это тоже благо, ибо, во-первых, мы сами виноваты, что потеряли доверие определенных социальных слоев, а во-вторых, лучше собираться и петь псалмы, чем собираться и пить "на троих".

Следует также отметить, что новопришедшие в РПЦ не только вступили в контакт с активными силами духовенства, не только активизируют (хотя пока и медленно) прочее духовенство, но и начали поставлять кадры священ-

ников из своей среды, в чем им помогают некоторые епископы. Возразят, что число таких епископов мизерно. Это верно. Верна будет и гораздо более острая критика. Но ответ здесь один: все в будущем.

Мне представляется, что каждый народ в Церкви — Новом Израиле — переживает свою священную историю по типу истории Ветхого Израиля. РПЦ прошла через "египетское рабство" татарского ига и ныне переживает период "вавилонского пленения". Это гораздо более соблазнительное время, и не все захотят покинуть Вавилон. Но и Исход будет гораздо более велик и победоносен.

"Православие не только еще не выразило, но лишь начинает себя выражать на языке современности и для современного сознания", — писал о. Сергей Булгаков. Эти слова целиком и полностью можно отнести к РПЦ, которой как институту еще придется какое-то время приходить в себя после всероссийской смуты. Но которой, как и России, предстоит большое и долгое будущее. И творить это будущее во имя Христа — всем нам.



В издательстве «Синтаксис»
вышел сборник стихов

Геннадия АЙГИ
«ОТМЕЧЕННАЯ ЗИМА»

Издание подготовила
В Лосская

Предисловие
Пьера Эмманюэля

Цена 96 фр. фр.
При заказе в издательстве
(скидка 20%)

Михайло Михайлов

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕДОМЫСЛИЕ

Жгучую озабоченность за судьбы духовной свободы вызывает у внимательного наблюдателя до сих пор мало осознанный факт, что среди многочисленных эмиграций из всевозможных тоталитарных стран, теперь уже почти со всех континентов, *единственно в среде русской эмиграции* существует и крепчает с каждым годом антидемократическое течение, принципиально отвергающее право отдельного человека самому решать свою судьбу во всех сферах личной, общественной и государственной жизни.

Если до недавнего времени приходилось отвечать на вопрос — "почему это русские всегда ссорятся?" — причем ответить было не так уж и сложно, ссорится ведь всякая эмиграция, да и не только эмиграция, а сам факт разномыслия скорее свидетельствует о политической зрелости среды, чем об ее отсталости, — теперь все чаще приходится отвечать на вопрос "почему русские против демократии?". (И имеются в виду именно диссидентские круги, а отнюдь не советская власть).

Для человека, уверенного в том, что по своей природе люди не могут предпочитать рабство свободе (религиозным языком говоря, человек создан "по образу и подобию Божьему"), ответить на вопрос о причинах отрицания демократии в среде новейшей русской эмиграции, и даже в некоторых диссидентских кругах в самом Советском Союзе, отнюдь не просто.

Ведь существует же и чешская, и венгерская, и югославская, и кубинская, и десятки других эмиграций из коммунистических стран, — и, несмотря на множество часто воюющих между собою политических группировок, — невозможно отыскать такую, которая бы выступала против демократизации поработанного отечества. В то время как беженцы из других коммунистических стран, даже ярые националисты, всегда подчеркивают, что их цель освобождение их родины от диктатуры и возвращение или введение демократических, выборных порядков их народам, — в русской эмиграции даже люди, не считающие себя националистами, нередко выступают с оправданием авторитарного строя для посткоммунистической России. В то время как у других народов даже монархисты провозглашают, что восстановление монархии в своих странах видят лишь как лучшую гарантию демократического строя, наподобие английской монархии, — в русской среде даже люди, отрицающие самодержавие, нередко отдают предпочтение авторитарной, сильной власти, перед демократическими порядками и многопартийной выборной системой.

И что самое парадоксальное, определенно можно утверждать, что первая русская эмиграция, вопреки сильнейшим течениям монархистов и множеству людей, кровно связанных с дореволюционным режимом, — была несравнимо более демократически настроена, чем та, не такая уж большая, но чрезвычайно напористая, антидемократическая часть новейшей эмиграции. Во всяком случае, если на уровне разных "землячеств" или отделов РОВС'а нетрудно было отыскать людей, видящих идеал общественного порядка в нарождающихся фашистских странах, подавляющее большинство эмигрантской интеллигенции (и либеральной, и консервативной) — было принципиально демократическим. Для того, чтобы в этом убедиться, надо только перелистать подшивки русских зарубежных газет и журналов, печатавшихся между двумя мировыми войнами. "Современные записки", "Новый Град", "Социалистический Вестник" и десятки других журналов все еще являются недостижимым образцом духовного и идеологического творчества и высококультурного политического плюрализма. Монархисты в основном были за конституционную думскую монархию,

социалисты – за плюралистический демократический социализм, демократы и деятели Февраля – за европейскую парламентскую систему. Однако никому и в голову не приходило утверждать, что русский народ не дорос до демократических порядков и что ни в коем случае нельзя русским давать свободу, так как это плохо кончится. Всем еще памятливы были ленинские атаки на "парламентский идиотизм". Те же части русской эмиграции, принципиально не принимающие демократию ни в каких ее формах, влились в две струи противоположного направления, но одинаково губительные: одна струя вела к признанию советской власти (сменовеховцы и младороссы), вторая – к поддержке гитлеровской Германии (кроме генерала Краснова и его казаков – Русский Корпус в Югославии; да из интеллигенции – Мережковские). Были еще где-то там на Дальнем Востоке и "Русские фашисты", – но это уже анекдот. Единственная политическая организация русского зарубежья, основанная до Второй мировой войны и все еще существующая – Народно-Трудовой Союз, начала свой путь как националистически-авторитарная и лишь после войны, под давлением исторических событий, во многом отошла от национализма и от авторитарности. Отношение второй эмиграции к демократии не так легко определить. Многим из них даже гитлеровская Германия показалась более свободной страной, чем сталинский СССР, – да и обидели их немало западные демократии выдачей в руки СМЕРШ'а десятков тысяч невозвращенцев. И все же открытого и принципиального неприятия плюралистической, демократической системы со стороны людей, принадлежащих ко второй эмиграции, что-то не припомню. Или их не так уж и слышно было.

Словом, в серьезной зарубежной русской публицистике до самого последнего времени о благах и преимуществах авторитарного строя перед демократическим, даже в смысле "переходного периода", после чаемого падения комдиктатуры – не было и речи. В то время, как нетрудно отыскать начало этого странного возрождения тяги к несвободе (все пошло с легкой руки Солженицына и его "Письма вождям" в 1974 году), – будущее этого "возрождения" для нас скрыто в туманной дали истории. В настоя-

щем — не так уж легко найти номер толстого журнала, да и газеты, без одной хотя бы статьи, не содержащей объяснений, почему именно для русского народа демократия совершенно неприемлема, какие ужасы подстерегают человечество в том случае, если после падения коммунистической власти в СССР вместо авторитарного строя появится плюралистический, многопартийный и так далее, и тому подобное.

Дело дошло до того, что забеспокоились даже традиционно беспечные американские правительственные чиновники, благодаря тому, что в русских передачах Радио Свободы отразилось это самое "авторитарное возрождение" и попытки дискредитации демократии. И если участники правозащитного и демократического движения, ныне находящиеся на Западе, не выступят более решительно с осуждением всех поклонников авторитарного строя, присвоивших себе, благодаря типично "большевистской хватке", якобы право выступать от имени русского народа, — не совсем уж фантастической представляется такая возможность, что в один прекрасный день приехать даже на гастроли в США русскому эмигранту будет так же сложно, как это теперь для заведомых врагов свободного общества — бывших членов нацистской партии и теперешних членов коммунистической. Словом, навестить Америку, например, Синявскому или Максимову будет не легче, чем итальянскому генсеку Берлингуэру. И, к сожалению, это отнюдь не шутка.

После большевистского Третьего интернационала да зарождения нацистского и фашистского движения нынешнее "авторитарное возрождение" в среде русского диссидентского движения и на Западе и в России явилось самым серьезным духовным врагом демократической выборной системы. И этот факт отнюдь не теряет своего значения в виду того, что у противников демократического строя пока что нету власти. Мир не забыл того, что нацистское движение началось после Первой мировой войны с группы в семь человек. Как говорит пословица — нет надобности съесть все яйцо, чтобы понять, что оно гнилое. В то время как авторитарные движения в небольших народах и государствах не являются серьезной опасностью для демократического мира, — всякое антидемократическое

течение у больших народов, как например русский, ставит под угрозу существование свободы на всей планете.

К счастью для русских поклонников авторитарности, в демократическом мире не очень уж многие читают русскую прессу. А если бы внимательно читали, то вот что, например, могли бы прочесть:

... Можно лишь диву даваться, насколько хитер дьявол, притворно разделившийся надвое... и так называемая демократия, и пресловутый тоталитаризм — глухие тупики. Выход, конечно, есть: русским надо излечиться от своего тоталитаризма, а американцам и западноевропейцам — от своей демократии... Направить Россию по пути так называемой западной демократии было бы последним бесчеловечным экспериментом над этой многострадальной страной, на живом теле которой было уже испытано столько политических изобретений... То, что называют сейчас демократией, на самом деле есть *охлократия* — власть стада, торжество толпы... Когда, например, спрашивают "Доросла ли Россия до демократии?", никто не задает встречного вопроса "а может быть, она давно переросла демократию?" и не обсуждают проблемы "доросла ли Америка до аристократической формы правления?". Чтобы увидеть порочность современной демократической системы, не надо быть глубоким философом. Задумавшись об этом хотя бы несколько минут, нельзя не понять, что суммированием голосов нельзя получить никакой истины, а значит, и отыскать наиболее достойных руководителей страны. Эта система ведет лишь к капитуляции власти перед числом, перед массой. Но даже если эти соображения покажутся кому-нибудь слишком сложными, он может убедиться в неэффективности демократической системы на фактах, так как кандидаты, собравшие большинство голосов, сплошь и рядом оказываются жуликами и наносят нации значительный вред. На демократии будто помешались. Нетрудно понять, где тут зарыта собака. Весь пафос современной демократии состоит не в выборности власти, а в ограничении ее компетентности, в отвоевании у нее так называемых "прав человека", а точнее — прав индивидуума.. Но у индивидуума на первом плане стоят шкурные биологические интересы, элементарные потребности данного момента. Он

не способен заглянуть в будущее, лишен исторического мышления и исторической интуиции, а поэтому безответственен .. В центре мировой охлократии — Соединенных Штатах... Но вот, скажем, в России... если... провозгласить демократию, которая включает в себя право свободного предпринимательства, то это будет никакое не предпринимательство, а повальный грабеж. Но независимо от того, разрушит ли одна из фракций всемирной партии бездуховности другую фракцию, навязав ей смертельные для нее собственные формы жизнеустройства, или же их спор будет продолжаться, создавая иллюзию, будто существуют разные точки зрения на мир, дела наши на исходе двадцатого века нельзя назвать иначе, как из рук вон плохими..." ("Континент", № 25, статья Виктора Тростникова "Конец эпохи самоощущения").

Прочтя такое замечательное отождествление демократии и тоталитаризма, нельзя не согласиться с автором, что дела наши и впрямь из рук вон плохи. Что самое интересное, тот же Тростников написал замечательно интересную книгу "Мысли перед рассветом" (напечатанную ИМКА-Пресс в прошлом году), в которой на профессиональном научном уровне показал, как современная наука подошла к признанию существования принципиально не наблюдаемой реальности, от которой зависит наша наблюдаемая, физическая реальность. Надо надеяться, что только из уважения к автору такой хорошей книги, да к тому же все еще живущему в СССР, редакция "Континента" ни словом не отмежевалась от идей, высказанных в статье Тростникова. . Как будто какой-то рок тяготеет над современной русской мыслью, как только речь заходит об устройстве общества и свободе человека. Те же самые люди, добившиеся замечательных успехов в своем профессиональном (научном, литературном и т.п.) поприще, начиная думать об общественных проблемах, всю беду видят в свободе отдельной личности, а выход лишь в как можно более сильной авторитарной власти. Доколе же бить человека?.. Правда, существует академик Сахаров, да и не он один, но все-таки вот такие голоса, как Тростникова, ставшие теперь чрезвычайно многочисленными, компрометируют диссидентское движение и русский народ больше, чем

десятки клеветнических статей в "Правде".

Самое симптоматичное во всех восхвалениях авторитарного строя — это то, что никто из ныне многочисленных его приверженцев не попытался дать ответ на вопрос — "а кто же, в конце концов, будет иметь власть?" Сказать просто — "авторитарный строй" — это значит только высказаться против демократического строя, отнюдь не определяя содержание авторитарности. Это дает возможность всякому понимать авторитарность, как вздумается. Авторитарен и фашистский строй, и нацистский, и расистский в Южной Африке, и всевозможные военные диктатуры, и религиозно-клерикальный, как в нынешнем Иране, и советский, и русский самодержавный, и еще сотни разновидностей недемократических обществ. Все они отличаются одно от другого, но то общее, что их делает авторитарными, — это принципиальное признание за определенным слоем людей права власти над большинством, которое никаким путем не может влиять на свою судьбу. А так как человек всегда и всюду тяготеет к свободе, то авторитарное общество неосуществимо без сильнейшего аппарата подавления и террора.

Конечно, между СССР и Российской Империей существует огромная разница, не в пользу СССР. Однако этот аргумент, часто употребляющийся в целях восхваления авторитарности, нуждается в маленьком дополнении: дореволюционная Россия, особенно в последнее десятилетие, в результате революции 1905-го года и вынужденных реформ, была намного свободней и демократичней, чем нынешний Советский Союз. Значит, и это сравнение говорит в пользу демократии, а не авторитарности.

Просто так высказываться за авторитарный строй — безответственно. Как это остроумно заметил Чалидзе: "Кто принимает решения? Царь? Патриарх? Верховный писатель? Никаких разъяснений..." ("Континент", № 23). Единственная группа в русской эмиграции, имеющая разъяснение на этот счет — НТС. НТС, конечно, имеет в виду самого себя. Тут можно хоть с чем-то поспорить, и это уже хорошо. Правда, НТС оговаривается, что имеет в виду переходный период (к "солидаристскому строю"), как можно прочесть в "Посеве" за декабрь 1980 г., в докладе

Александра Югова на 23-й конференции журнала:

”Но, мне кажется, Солженицын, со свойственным ему темпераментом, а вслед за ним и Шафаревич, совершают чисто тактическую ошибку, не подчеркивая в должной мере *переходно-временный аспект* авторитарной системы, ее вынужденную необходимость именно в данных условиях... Я бы определил авторитарную систему в посткоммунистической России как своего рода *гигантскую декомпрессионную камеру*, призванную поднять страну из тоталитарной глубины... на демократическую поверхность... это требует твердого, уверенного руководства, даже не ”дирижизма”, а, пусть временно, но абсолютной власти”.

Вот и опять пошла речь об абсолютной власти. Югов очень пронизательно замечает, что ”наверяд ли такая постановка вопроса будет приемлема для верных рыцарей демократии”. Верно, коммунисты тоже хотели абсолютную власть и тоже только для переходного периода к ”царству свободы”. Кроме того, отнюдь не все поклонники авторитарной власти согласились бы с Юговым, что цель все-таки демократия или, словами Тростникова, ”охлократия”. Наоборот — большинство открыто отрицает демократию или же все еще не решило, что предпочесть.

Такую же точку зрения, как и Югов, высказывает редактор ”Континента” Максимов. В интервью журналу ”Презенса Либерале”, напечатанном в ”Новом Русском Слове” (14 августа 1981), Максимов, говоря о населении России, ”которое никогда не знало демократических форм существования”, утверждает, что ”начать сразу же с демократии едва ли возможно. Это неминуемо приведет к новой диктатуре. И еще более жестокой, чем существующая”.

Знает ли история такие переходы от абсолютной власти к демократии? Да, знает. В XX столетии можно указать на три таких случая: введение демократического строя в Западной Германии после разгрома нацистов, в Японии (имевшей меньше демократических традиций, чем Россия) и в Турции, после прихода к власти младотурков. Однако в Германии и Японии демократический строй вводили оккупационные власти после военного поражения этих стран, а Кемаль Ататюрк — после кровавой революции. И задачей при этом отнюдь не было ”обучение демократии”, а лишь

недопущение формирования какой-либо монопольной политической организации и ликвидация прежних монопольных структур общества

Однако именно такой путь, как прихода к власти, так и перехода к демократии (покуда ее принимают как конечную цель), — менее всего имеют в виду русские авторитаристы. Наоборот, Максимов, например, открыто говорит. "не дай Бог" революция. О военном поражении тоже никто и не думает. Так каким же образом "после падения коммунистической власти" вводить авторитарность? Ведь авторитарные режимы в наше время появляются только и исключительно в результате войн, революций и военных переворотов. Даже гитлеровцы называли свой переворот "национал-социалистической революцией" И если когда-либо советская власть настолько расшатается, что сама падет наподобие русского самодержавия, то ввести авторитарный строй будет возможно единственно "ленинским путем". То есть, путем переворота и гражданской войны.

Словом, дело обстоит как раз наоборот, чем это толкуют авторитаристы. После падения советской власти начать сразу же с авторитарности "едва ли возможно" без кровавой резни и новой диктатуры, еще более жестокой, чем существующая. "Гигантская декомпрессионная камера" была бы уместна исключительно в случае поражения СССР в войне или (что совсем невероятно!) внезапного дворцового переворота в Кремле, с приходом к власти людей, желающих ввести демократический строй. Наоборот, весь опыт борьбы против диктатуры в Восточной Европе говорит о том, что возможен только такой путь, каким развиваются польские события вне зависимости от того, как они закончатся, то есть путь борьбы за плюралистическое общество, без всяких авторитаризмов. Говорить об "абсолютной власти" после падения нынешней — уже, к счастью, не совсем абсолютной — просто недомыслие.

Правда, есть и другое понятие об авторитарной власти, какого придерживается, например, Владимир Буковский. Вот что он пишет:

"В одну из бесед в том же 1977-м году спросил меня Солженицын осторожно, — согласен ли я, что прямо вот так, от тоталитарного режима, перейти сразу к демократии невоз-

можно. Нужен какой-то подготовительный, переходный период. Разумеется, я был согласен, и мы дипломатически не стали вдаваться в детали, развивать эту тему. Для меня этот переходный период означал борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не надо. То есть, этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался. Для него он все еще зиял впереди черным провалом. И где же тогда взять мудрого автократа, чтобы сдержать стихию? Разве что в православии... А значит, уже сейчас нужно постараться ослабить тенденции либеральные и усилить православие.

Удивительная это, конечно, мысль, что свободе и демократии нужно людей обучать, как тригонометрии. В основе ее нечто вроде порочного круга: сразу к свободе перейти нельзя, не обучены, а как же обучать в условиях не-свободы? Религия тут — плохой помощник. Христианство существует почти две тысячи лет, однако не убергло нас ни от коммунизма, ни от фашизма. Тем более не спасет коррумпированная, подконтрольная православная церковь. Уж если и учиться демократии, то только в процессе борьбы за свои права (разумеется, ненасильственной) В этом смысле роль солженицынского автократа исполняет сейчас советская власть” (“Континент”, № 23, стр. 193).

Вот с таким пониманием автократии, как у Буковского, с удовольствием можно согласиться. Но в таком случае отпадают все ”после” (падения коммунистической власти) и ”в начале” (посткоммунистического периода). И, конечно уж, отпадают все восхваления авторитарного строя со стороны тех, кто открыто осуждает демократический путь

Или процесс освобождения уже начался, а советская власть именно и является тем чаемым авторитарным строем, и тогда все, что говорят Солженицын, Максимов, Югов, Шафаревич, Парамонов, Краснов и многие, многие другие, просто вредная бессмыслица, — или же надо открыто сказать, как это делает Тростников, что демократия является злом, равным ”пресловутому тоталитаризму”, и поэтому совершенно открыто поставить точки над ”i”, то есть рас-

крыть содержание желаемого недемократического строя. Монархистский? Националистский? Клерикальный? Фашистский? И, конечно, объяснить, на основании какой идеи и идеологии такой строй будет воздвигнут.

Писать же и повторять, что "Нельзя к примеру механически ввести демократию в такие структуры, как Китай, и вообще в азиатские страны. Колонизируя Африку, Запад совершил роковую ошибку, попытавшись внедрить здесь собственную форму общественного существования. Что из этого получилось — всем известно. Африка превратилась в клубок кровавой междоусобицы .. Так и в России", — как это делает Максимов и многие другие, — просто неверно.

К сожалению, Запад отнюдь не колонизировал другие континенты в целях приобщения живущих там народов к европейским демократическим формам общественной жизни. Тех, часто урезанных, демократических институтов и форм правления колониальные народы добились в долголетней кровавой борьбе с колониальными империями. Лучший пример тому — история борьбы индийского народа. Это только после второй мировой войны, после победы антиколониальных движений в нескольких больших колониях, да из-за боязни, что коммунисты могут воспользоваться борьбой колониальных народов, — великие империи начали распускать свое колониальное царство. К тому же синтетика стала успешно заменять натуральное сырье, и нужда в колониях ослабла. Кровавые же междоусобицы в Африке именно результат того, что коммунистические и вообще недемократические радикальные движения расцветают только на почве вековой несвободы и порабощения, а ни в коем случае благодаря якобы введенным демократическим структурам, как это думает Максимов.

В этом же странном интервью, в котором Максимов утверждает, что "Степень несвободы в Советском Союзе одинакова для всех. И Брежнев так же несвободен в своем выборе и в своих решениях, как рядовой колхозник или рабочий" — система виновата (раньше говорили "среда зела"), — а поэтому и сопротивление тоже носит всеобщий характер "Все пьют, начиная от Брежнева. Это тоже форма внутреннего подсознательного неприятия сложившегося положения", — Максимов повторяет марксистский

миф о том, что свобода и демократия являются лишь возможным результатом общественного и культурного развития, поэтому для демократии Россия не доросла. Надо якобы сперва воспитывать народ, и хотя Максимов отдает дань "привлекательности, высокой гуманистичности, высокой культуре позиции Сахарова", — однако высказывается в том смысле, что "альтернатива, которую предлагает обществу Солженицын, намного приемлемее, ибо это в психологии народа, в его традициях... ибо.. народ никогда не знал демократических форм существования... массовой базе она чужда" (настораживает даже советская терминология "массы, база"). И в то же время, когда идет речь о том, поддерживает ли русский народ нынешнюю советскую власть, Максимов утверждает, что так же, как и в Польше (по проведенному неофициально опросу общественного мнения), и в СССР не больше трех процентов бы проголосовало за КПСС на свободных выборах. Он даже говорит: "Поэтому, когда у меня спрашивают, что думает народ, я отвечаю: вы дайте ему, этому народу, проголосовать, тогда узнаете". Но если это так, а я тоже совершенно в этом уверен, то спрашивается, зачем же тогда вообще нужен авторитарный строй и "воспитание к демократии"? Почему бы это "массовой базе" были ближе идеи подавления суверенитета личности и пока что никаким содержанием не наполненный авторитарный строй, чем демократический? Ведь и советский авторитарный строй, и царский, самодержавный, были введены отнюдь не демократическим путем! Если бы русские люди совершенно свободно и добровольно избрали и поддерживали советскую систему, — ну тогда уж в самом деле можно было бы говорить о том, что Россия "не доросла" до демократии. Однако и Максимов, и все другие критики демократии именно это отрицают. А раз так, раз в самом деле во всех коммунистических странах народ бы проголосовал, если когда-либо дело дойдет до свободных выборов, против монопольной диктатуры, — то вещать о благах авторитарности — вредное и безответственное недомыслие.

Кстати, о "воспитании к демократии". Воспитанию и обучению подлежат только специфические *формы*, в которых демократия выражается. Самой же основе демократии

– суверенитету личности над обществом, государством, нацией – никакая, даже самая просвещенная власть не может обучить людей. Как это верно заметил Буковский, свобода и демократия не тригонометрия. Единственный способ обучения – это активное сопротивление тоталитарному строю. Свобода не есть результат общественного и культурного развития, а предпосылка всякого развития!

Даже когда оккупационные власти вводили демократический строй в послевоенную Германию и Японию, их главной задачей было не "воспитание к демократии", а освобождение личности от монопольных национально-авторитарных структур и недопущение их возрождения. И не будь стремление к свободе, к суверенитету личности, а значит и к демократии, заложено в человеческой душе, – все дело демократических армий окончилось бы полным провалом. Как мы знаем, этого не произошло.

Величайшая демократия наших дней – американская – родилась отнюдь не в результате "воспитания к демократии", а как и все ценное в этом мире, в *борьбе против* колониальных и авторитарных структур английской империи. Впрочем, и английская демократия родилась не благодаря авторитарной власти, а в борьбе с нею, отвоевывая с тяжким трудом и кровью каждую частицу суверенитета личности от власти государства. (Очень симптоматично то, что в своем противоречивом интервью Максимов, говоря о, по его мнению, желанном будущем России, отождествляет личность и "общину", в которой еще русские ранние марксисты видели, с полным правом, именно антиличностное начало коллективизма). Именно в Америке не было ни традиций, ни государства, ни авторитарного воспитателя, ни примера, которому надо бы следовать, а была лишь неограниченная свобода и безграничные просторы, так схожие с русскими просторами, и вот именно это *отсутствие* чего-либо ограничивающего суверенитет личности, кроме воли Божьей, – и создало то блестящее развитие страны, по отношению к которой не только Россия, но и вся Европа кажется убогим захолустьем. Кстати, именно полное непонимание того, что в Америке "консерватизм" именно и означает приверженность принципу суверенитета личности

над государством, породило комичное недоумение в среде новейших эмигрантов из СССР, — почему это консерватор Рейган не пересажал либералов и все еще не разогнал либеральную "Нью-Йорк Таймс".

Вначале была лишь свобода, а все остальное приложилось. Никто не пытался "воспитывать" либо в духе Маяковского — "бери пример с товарища Дзержинского", либо в том странном духе (тоже довольно-таки советском), которым пропитано поздравление Сахарову с шестидесятилетием на третьей странице обложки 28-го номера "Континента" и под которым почему-то подписана не только редакция, но и редколлегия журнала: "... Было все — голод, очереди, любовь, увлечения, учеба, война!.. — но не было одного — живого примера. . Примера — как жить... А как он нужен в двадцать лет. Да и в тридцать, и позже... И мы завидуем тем, кто растет сейчас. И дома, и по другую сторону Берлинской стены. У них есть Пример. И этот Пример — Вы, Андрей Дмитриевич! И для нас тоже, переваливших уже за пятьдесят и даже шестьдесят... Будьте же здоровы и нестигаемы, как всегда, дорогой наш Пример и Образец, Андрей Дмитриевич Сахаров!"

Никто в Америке не воспитывал на "примерах и образцах", не вел к демократии, не обучал демократии, а просто свободные одиночки с оружием в руках, не признавая никакой суверенной власти над собою (США единственная страна в мире, в которой с самого начала Церковь была отделена от государства, несмотря на сильную религиозность населения), — отстаивали свою свободу. И именно поэтому с самого начала и по сей день, свободолюбивые люди всех стран так часто бегут в Америку, благословение которой именно состоит в отсутствии авторитарных структур власти, несмотря на то, что и здесь бытует немало "властепоклонников", которые, подобно Тростникову, хотят видеть "власть — истину" и считают, что выборная система это "капитуляция власти перед индивидуумом", а все президенты — отъявленные жулики.

Основа бытия, источник всякого творчества — не общество, не нация или класс, не государство или раса, а исключительно — личность, в которой, религиозным языком говоря, заложен образ, созданный Творцом. Демократия и

есть такой строй, в котором основой основ является суверенная личность. Тот факт, что часто на выборы не выходит половина избирателей, говорит лишь о том, что в демократическом обществе исполнительная власть чрезвычайно ограничена (вся суть демократии в *разделении властей* в интересах того, чтобы не была *разделенной личностью*, как в авторитарных, а тем более тоталитарных странах), и влияние главы государства не затрагивает почти что никак сферу жизни рядового человека. Когда в кризисных ситуациях идет речь о решениях, которые в самом деле могут затронуть жизнь каждого человека, — то и к избирательным урнам является подавляющее большинство граждан. Даже факт, что в выборах участвует часто не больше пятидесяти процентов населения, говорит в пользу демократии, а не против нее.

Все это, конечно, отнюдь не значит, что саму идею демократии нельзя критиковать. Однако восхваляя авторитарный строй, необходимо ясно сказать — кто и почему должен решать вместо каждого из нас. Кого и почему мы все должны признавать лучше знающим, чем мы сами, — что нам нужно. У коммунистов хотя бы есть оправдание для "диктатуры пролетариата", а у наших авторитаристов, кроме ссылки на традиции и незрелость русского народа, ничего другого нету. Кстати, несмотря на глубокое уважение к деятельности НТС (особенно — издательской) и на личную дружбу с его возглавителями, — приход к "абсолютной власти" НТС в России, думается, был бы отнюдь не менее трагичен, чем приход к власти (тоже абсолютной) — большевиков. Старая поговорка гласит, что абсолютная власть абсолютно развращает. Думать надо о том — как создать в России такие общественные институты, которые не позволят никогда, никому взять монополю власть в свои руки.

Совершенно верно, что истина только одна, однако у каждого *свой* путь к ней. Когда какой-либо авторитет (хуже всего, если — христианский, церковный) отбирает у людей возможность своим путем искать и находить Истину и даже заблуждаться, — тогда Истину можно найти исключительно в сопротивлении такому авторитету. Нельзя забывать крылатых слов Бердяева, что "авторитарность есть

антихристово начало” (“Русская идея). И традиции тут не при чем. Вот, балтийские страны тоже ведь никогда не имели демократии, а получив ее после Первой мировой войны, сразу же зажили образцовой демократической жизнью. Безо всяких традиций. То же самое произошло бы в России, не будь большевистских поклонников абсолютной власти, тоже считавших, что народ надо “воспитать и перевоспитать” и что парламентная, выборная демократия — один обман и жульничество.

Идея демократии — отнюдь не западная, а всечеловеческая, лишь впервые расцветшая на Западе. Сказать, что демократия лишь западная идея, как говорят русские авторитаристы и недалекие западные деятели, — значит то же, что сказать, что философия и геометрия — греческие идеи, а взрывчатые вещества — типично китайская специальность (так как китайцы изобрели порох). Попав на Запад, я, так же как и Буковский, полностью удостоверился в том, что люди всюду одинаковы. Разница лишь в типе власти, в отличии между монопольной властью и *умышленно разделенной во имя суверенитета личности*. Разложение монопольной власти в СССР, процесс, который можно заметить несмотря на постоянные репрессии, ведет, если не будет войны, к демократическому плюралистическому строю, и этот процесс может остановить и опять восстановить монопольную абсолютную власть только антидемократическое течение в русском диссидентском движении. Вред и опасность этого не только для России, но и для всего свободного мира — самоочевидны, а идея авторитарности — нелепа. Тем более нелепа, что даже в Китае, имеющем еще меньше демократических традиций, чем Россия, диссидентское движение подчеркнуто демократично.

В 1950-м году один из авторов “Социалистического Вестника” Р. Абрамович писал: “... Главная задача состоит в том, чтобы убедить русский народ... что в той мировой борьбе, которая разыгрывается между ... диктатурой и демократиями, он (народ) тоже должен выбрать свой лагерь — *в лагере демократии*. Он может это сделать пока не физически, а морально, психологически. Но даже чисто моральное занятие позиций может сыграть огромную роль”. (“Континент”, № 28, стр. 130). Все те, которые так легкомысленно

и якобы очень реалистически (в отличие от "идеалиста" Сахарова) провозглашают авторитарный путь более подходящим для России и, отнюдь не разъясняя, что конкретно под авторитарностью подразумевают (солженицыновский "человеколюбивый авторитарный строй" отнюдь не описывает его структуру, а лишь является пожеланием, логически схожим с "горячим льдом"), и осуждают "западную" демократию, — делают дело прямо направленное против освобождения России в будущей возможной военной схватке между демократией и тоталитаризмом.

Все то, что в моральном смысле приобрело диссидентское движение в СССР, — полностью может быть скомпрометировано восхвалениями авторитарности. Невольно начинаешь понимать, читая высказывания новоявленных поклонников сильной абсолютной власти, где корни того расистского отношения к русским в некоторых кругах на Западе. Именно из их уст можно услышать слова: "Демократия — не для русских, им нужен кнут", слова так схожие с тем, что говорят авторитаристы. Я не вижу более важной задачи для всех участников диссидентского и правозащитного движения и в СССР, и выехавших на Запад, как заявить во весь голос, что нынешние восхвалители авторитарности не являются ни в коем случае выразителями чаяний русского и других народов СССР и что они просто наследники тоталитарного образа мышления, какие водятся во всех народах мира, и что по ним судить о русском народе — нелепо. Другими словами, диссидентам остается повторить то же самое, что они уже сделали в отношении советской власти: открыть миру глаза на суть авторитарности и показать, что русский народ не обречен на вечное рабство.

В начале статьи я написал, что совсем не легко ответить на вопрос — "почему русские против демократии?". Только для знающего хорошо суть тоталитарного строя и в то же время знающего психологию новоявленных поклонников авторитарной власти, а также и демократический мир, со всеми его недостатками и непоследовательностью именно в области защиты демократии, — ответ вырисовывается довольно ясно. Стремление к сильной власти, *властепоклонство*, осуждение "распушенной демократии"

— все это является самым страшным душевным последствием и наследием советского тоталитаризма. Впрочем, так же и ленинский большевизм вобрал в себя все самые худшие стороны российского самодержавия. Вот это и является ответом на теперь уж постоянный вопрос. Самое страшное — не уничтожение деревни, не уничтожение литературы и культуры, не загрязнение природы, а потеря самого понятия о личности и ее правах, о ценности свободы отдельного человека, ценности высшей, чем класс, нация, государство, родина. Верно, что человек достигает высочайших духовных вершин в жертве даже собственной жизни за надличные цели и ценности. Однако *только тогда*, когда он это делает по своей свободной воле. Поэтому свобода, а не власть является предпосылкой создания и осуществления всех вообще ценностей человеческой жизни.

Первостепенной задачей для судеб России и всего мира является осознание этого в рядах русского диссидентского движения и соответствующая тому деятельность.

ТРИБУНА

ЖУРнал-ГАЗета



ТРИБУНА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: П Егидес, П. Литвинов, К Любарский, Михайло Михайлов, А. Синявский, Б Шрагин, Е Эткинд.



ТРИБУНА

ЦЕНА НОМЕРА

18 фр. фр.

Переписка по адресу

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Подписка на 10 номеров
(150 фр. фр.)

принимается по адресу

31, Jardins Boieldieu
92800 Puteaux France
M-me ZVORYKINE

ЖУРнал-ГАЗета выпускается на личные средства членов редколлегии и поддерживающих это издание лиц

Борис Хазанов

ВЕЛИЧИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О литературе нельзя судить, как судят о писателе — по его лучшим, высшим достижениям. Писатель рождается и созревает внутри некоторой традиции, но степень его значительности измеряется тем, насколько ему удалось выломиться из традиции. Всю жизнь писатель ведет открытую или тайную войну с вскормившей его литературой — либо сдается, превращаясь в ее заурядного представителя. Таким образом, к литературе применимо понятие парадигмы, которое было учреждено в науковедении Томасом Куном, автором нашумевшей книги "Структура научных революций". По Куну, эволюция науки не есть процесс неуклонного накопления знаний наподобие того, как копятся книги в библиотеке. История науки — это история смены научных парадигм, причем новая парадигма не надстраивается над старой, а опрокидывает ее.

Слово "парадигма" заимствовано из грамматики, где оно означает образец склонения существительных, спряжения глаголов и т. п., в данном случае под парадигмой разумеется представление о том, какой должна быть "настоящая", то есть нормальная наука круг проблем, достойных рассмотрения, система взглядов, которые основаны на достижениях, признанных классическими и неоспоримыми, поле аксиом, предписывающих, что считать научным, а что ненаучным. В нормальной науке, как в нормальной семье,

никаких трагедий не происходит. Здесь спокойно трудятся, воспитывают потомство, благоустраивают быт. Нормальная наука предполагает мирную исследовательскую и педагогическую деятельность под сенью чтимых монументов, по великим образцам, — в разное время ими были "Физика" Аристотеля, "Альмагест" Птолемея, "Вращения небесных сфер" Коперника, "Начала" Ньютона и так далее.

В литературе существование внутри парадигмы столь же почтенно, ибо тоже осенено бессмертными образцами. Литературное сообщество — аналог сообщества ученых — сознательно принимает позу благоговейного ученичества у великих мастеров. Их творения принято называть непревзойденными. Не так легко усвоить жестокую истину, что "Войну и мир", подобно "Альмагесту", может упразднить какой-нибудь новый Коперник. Вместо этого литература обязуется свято исполнять свой долг — коллективным усилием нести светоч, выпавший из могучей руки основоположника. Делать это можно только шагая в едином строю. Поэтому литература находит свое наиболее адекватное воплощение не в лучших, аномальных образцах, а в худших — нормальных. В образцах, отвечающих парадигме. Поэтому не Пушкин и Чехов представляют нормальную русскую литературу XIX века, а Бенедиктов и Потапенко. Литература — враг писателя. Чехов написал кому-то: "Мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе... некоторым образом артель". Но сам-то он уклонился от участия в этом субботнике.

Это предварение понадобилось, чтобы объяснить необходимость особого подхода к предмету нашего анализа — советской литературе, — хотя слово "анализ", конечно, звучит слишком громко. Автор — не специалист по советской литературе и вообще не литературовед; его самоуверенность оправдана разве лишь тем, что он имел возможность сравнить содержание произведений советской литературы с той действительностью, которую она будто бы отображает. Одно из серьезных препятствий для изучения книг советских писателей — скука. Когда в "Новом мире" был напечатан роман Федина "Костер", вдруг оказалось, что никто в редакции не прочел рукопись. Ее только перелистали. Это заставляет отнестись с уважением к критикам, имею-

щим время и силы читать сочинения, которые им приходится обсуждать. Автор этой статьи не может, положа руку на сердце, утверждать, что он прочитал все главные произведения современной русской литературы от корки до корки. Таким образом, наши рассуждения неизбежно будут носить дилетантский характер. Но есть необходимость отдать себе отчет в некоторых вещах. К сожалению, академическое литературоведение всегда уделяло слишком мало внимания так называемой плохой литературе. Что можно сказать об учебнике зоологии, где благородному оленю посвящены десятки страниц, а презренному шакалу — две-три небрежных фразы? Или о справочнике минералов, в котором говорилось бы только о драгоценных камнях? Знатоков литературного процесса интересуют лишь *enfants terribles* литературы, и они неохотно обращают свой просвещенный взор на регулярную словесность, которая собственно и есть нормальная литература. В этом смысле советская литература представляет собой чуть ли не целину для исследователя — но не только в этом. Самый критерий, по которому эта литература обыкновенно оценивается как недолитература, недостаточен, а может быть и неверен. Короче говоря, автор призывает отказаться от снобизма во взгляде на советскую литературу и настаивает на том, что к ней надо отнестись серьезно, без ехидных улыбочек и картинного умывания рук, отнестись как к сегодняшней форме существования русской литературы.

Ибо о ней мало сказать, что она кормит восьмимысячное сообщество литераторов и утоляет духовную жажду двухсотсемидесятимиллионного народа. Советская литература, ее эстетика и философия составляют необходимую среду, куда погружен почти каждый пишущий и говорящий по-русски. И разве неправда, что те из нас, для кого эти поэмы, романы, эпопеи, выпущенные тиражами, которые не снились никакому "настоящему" писателю, — всего лишь презренная имитация, дешевый сплав бездарности и сервилизма, кучка нарванных листков в клозете, разве неправда, что и они вскормлены этой литературой и прямо или косвенно усвоили ее уроки. Между русской и советской литературой не существует демаркационной линии, как нет границы между понятиями русского советского и

просто русского народа. Некогда вождь, если верить легенде, ответил генеральному секретарю Союза писателей, когда тот пожаловался на несознательность подчиненных: "В настоящее время мы не можем назначить для вас других писателей". В настоящее время советский писатель — это и есть среднестатистический русский писатель. И сколько произведений так называемой свободной русскоязычной литературы могут быть смело причислены к литературе советской — ибо они удовлетворяют ее рецептам, если не идеологическим, то художественным. Вырвавшись на простор, бывший советский беллетрист пишет все тем же пером, хоть и макает его в другую чернильницу.

Итак, не будем пытаться обобщать советскую литературу во всем ее многообразии или следить ее исторический путь — то и другое автору, с его эрудицией, не по зубам. Не будем останавливаться на книгах, заслуживших признание серьезных интерпретаторов литературы, на писателях, о которых говорится, что даже в жестоких условиях несвободы они сумели и т. д. Но постараемся рассмотреть этот феномен в его модельном выражении и будем иметь в виду образцовые творения этой литературы, те, которые ставятся в пример молодым, удостоены премий, вошли в учебники, — ее золотой фонд. Словом, худшее, что она произвела на свет. Но опять же худшее — с какой точки зрения?

С точки зрения "подлинной", "настоящей" литературы. Литературы, которую никто не сеял, не сажал. Тут возникает первая и главная трудность — она состоит в том, что мы применяем привычные мерки культурологии к явлению, для которого они не вполне адекватны. Мы называем по старинке художественными произведениями тексты, которые, строго говоря, ими не являются. Мы толкуем о литературе, а какая это, в сущности, литература. Так, ерунда собачья.

Приходится обратиться к сути дела, не заботясь о словах. Вообразим некоего творца, который в первый день отделил свет от тьмы, во второй день верхние воды от нижних, сотворил землю, тварей земных и так далее, и на седьмой или восьмой день, когда все было готово, когда уже были созданы производительные силы и соответствующие

им производственные отношения, сконструирован государственный механизм, сочинена идеология, изобретена партия, создана печать, — сказал себе: а теперь придумаем литературу. Подберем писателей, установим для них приличные гонорары, построим дома творчества, учредим комиссии, семинары, секции, редакции, придумаем литературные жанры и способы сочинения художественных произведений, сочиним универсальную теорию литературы и назовем ее социалистическим реализмом. Не следует видеть в этих словах кощунственную игру воображения. Подобно библейской модели мира, модель организованной литературы не так уж далека от действительности. Знаменитая статья Ленина, впервые сблизившая эти два понятия — организация и литература, — содержит, несмотря на двусмысленность своей терминологии, исчерпывающую программу такого конструирования. То, о чем идет речь, есть в самом деле организация, прежде всего организация. В известном смысле советская литература тождественна тому, что ее представляет, — Союзу писателей, системе государственных издательств и учреждений контроля, остальное — книги, тексты, "литература" — просто продукты жизнедеятельности этой организации.

Таким образом, это литература, которая существует не потому, что существует; не потому, что она возникла, есть и ничего тут не поделаешь. Но потому, что в тщательно выверенной, смонтированной по единому проекту государственно-общественной машине предусмотрен вид оснастки, называемой художественным творчеством; это литература, которая не порождает литературную бюрократию, а сама порождена ею. Оттого, между прочим, нельзя ставить знак равенства между советской литературой и мещанской литературой, литературой бульвара, на которую она так похожа; решающее отличие — не в огенках идеологии, а в самом принципе существования. В одном случае это рынок, а в другом — государственное делопроизводство.

По той же причине нельзя представлять дело так, что есть литература и есть надзирающие за ней инстанции, есть писатели и есть цензура. Сказать, что советская литература существует и развивается в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать ее. Термин "цензура" не под-

ходит к явлению организованной литературы, не случайно его нет в официальном лексиконе. Ибо он подразумевает нечто внеположное литературе, тогда как в нашем случае цензура — это и есть литература. Правда, к услугам пишущих имеется Главлит. Но при всем его могуществе, при том, что недреманные очи без усталы обшаривают все, что течет мимо них, так что ни одно печатное произведение вплоть до билетов в цирк не может увидеть свет без их позволения, Главлит играет скромную роль в функционировании литературы и ее самосознании. Самосознание это уже включает внутренний самоконтроль, вернее внутренний механизм самоусовершенствования. В либеральную эпоху находились смельчаки, намекавшие, что-де не худо бы умерить цензуру. Можно предположить, что даже полное упразднение Главлита не изменило бы облика советской литературы.

Стороннему взгляду открываются по крайней мере три системы, обеспечивающие правильное самовоспроизведение советской литературы. Это, во-первых, лестница редакторов, заведующих отделами, руководителей редакций и т.д., — все они соучастники творческого процесса. Во-вторых, система опекающих редакции и издательства партийных кураторов. И, наконец, невидимое, но повсеместное присутствие органов государственной безопасности. В решающих обстоятельствах этой инстанции принадлежит последнее слово, хотя в качестве потусторонней силы она сама его никогда не произносит.

Но мы недаром употребили выражение "сторонний взгляд". Очарованный величественным архитектурным ансамблем литературной организации, ее колоннадами и куполами, он скользит мимо окон нижнего этажа, где собственно и обретаются творцы литературы. Ибо повести и романы сочиняют все же не редакторы и надзиратели, а писатели. Вся система устройств выпрямляющего контроля, комбинация шлюзов и сит, назначение которых — выдавать высокоочищенный продукт, наконец, интимная связь литературы с ведомством безопасности, наглядно выраженная в том, что многие сотрудники этого ведомства сами являются видными писателями, а многие видные писатели — сотрудниками ведомства, все это необхо-

димым и законным образом встроено в механизм литературы, без этого он не мог бы работать. И однако первичной и, в сущности, главной инстанцией, контролирующей писателя, служит сам писатель. Он сам оценивает себя совокупным взглядом всех инстанций, выполняя роль и автора, и редактора, и партийного опекуна, сам стучит на себя невидимому оперуполномоченному, который думает его мыслями и берет аккорды на его пишущей машинке его собственными руками. Советские писатели пишут не по партийной или чьей-либо указке, но по указке сердца. Это изречение Шолохова есть бесспорная истина. Сердце, ум и нечто еще более глубокое — подсознание — подсказывают советскому писателю, как ему стать еще более советским.

Поэтому нужно считать весьма своевременным предложение реорганизовать Союз советских писателей в спецподразделение наподобие офицерского корпуса, ввести чины и знаки отличия. В некотором смысле это уже осуществлено, и очень может быть, что в каком-нибудь узком и доверенном кругу, на боевых смотрах и совещаниях высшего уровня Георгий Марков появляется в маршальском мундире, а Расул Гамзатов — в газырях, чалме и форменных шальварах национально-колониальных войск.

Перед нами вырисовывается поистине небывалый тип писателя. Специфика литературы как дисциплинарной организации делает вовсе ненужными качества, которые предполагались необходимыми в спонтанной литературе. Это хорошо видно на примере наиболее преуспевших представителей советской литературы, тех, кем она гордится, кто занимал или занимает ее верхние ступени, эквивалентные генеральским званиям, креслам академиков, высоким партийным должностям. Деградация литературных способностей Федина происходила пропорционально росту его влияния и славы. То же можно сказать о Фадееве. Похвалами и отличиями увенчано творчество более чем скромно одаренных Гончара, Проскурина, Стельмаха, Анат Иванова и т. п., малограмотность и отсутствие таланта не стали помехой на блестящем пути Мих. Алексеева. Аналогичным своеобразием отмечена этика члена организованной литературы, где традиционные добродетели писателя — честность, совестливость и независимость — оказываются такими же

беспольными, как творческий дар и культура. Внутренние пружины карьеры Софронова и Грибачева хорошо известны, подвиг Вадима Кожевникова, препроводившего в органы безопасности рукопись романа Гроссмана, стал хрестоматийным примером; вообще сотрудничество писателей с социалистическим гестапо настолько обычно, что наводит на мысль о закономерной причинно-следственной связи между органическими заслугами и литературным успехом. Что особо примечательно, такие заслуги не всегда держатся в секрете. Это говорит о том, что доноительство в принципе не рассматривается как порок.

Таким образом, контраст между нравственно-патриотическим пафосом советской литературы и специфическим моральным обликом ее творцов оказывается мнимым: душа советского писателя отнюдь не раздвоена. Его ментальность есть ментальность организации, его этика — этика дела, которому он служит. Если следование этой этике обеспечивает материальное преуспевание, хорошую пищу, загородную дачу и автомобиль, то это вовсе не говорит об ее ущербности. Напротив, это говорит о ее правильности. Всем своим обликом, всем своим существованием, всеми ста томами своих партийных книжек советский писатель свидетельствует против пословицы насчет трудов праведных и палат каменных.

О чем же они, это сто томов? Выше мы упомянули о социалистическом реализме, универсальном рецепте составления книг; автором этого термина принято считать Горького, хотя на самом деле он был впервые употреблен Иваном Гронским — председателем оргкомитета I съезда советских писателей, впоследствии арестованным по доносу. Соцреализм принадлежит к числу понятий, конкретное содержание которых установить трудно. Обширная литература, посвященная социалистическому реализму как методу советской литературы, избегает содержательных определений, заменяя их похвалами методу. Существует формулировка, предложенная одним американским литературоведом — произведение соцреализма — это такое, которое теми или иными средствами, в той или иной форме вызывает у читателя чувство гордости за свою родину и коммунистическую партию. К сожалению, здесь утрачена спе-

цифика художественной литературы. Следуя такому определению, мы не увидели бы разницы между произведением соцреализма и произведением, трактуемом о соцреализме.

Высказывалось мнение, что социалистический реализм есть просто фикция. Это неверно, потому что дело не в формулах. Смысл усилий, предпринимаемых теоретиками советской литературы, дабы представить наиболее ортодоксальную интерпретацию соцреализма, заключается не в этой интерпретации, а в том, что организованная литература предполагает наличие штата теоретиков, то есть людей, обязанных заниматься словопрениями о соцреализме. Со стороны может показаться, что критики наставляют писателей, как надо писать. Однако чтобы понять, чем отличается литература, представленная именами, лучшие из которых названы выше, от литературы, которую никто не сеял, не сажал, нет нужды в особых наставлениях. Отсюда следует, что социалистический реализм — не изобретение доктринеров, а реальность. Безо всякой теории в сознании советского писателя живет представление о том, каким должно быть произведение социалистического реализма.

Первая и главная особенность такого произведения заключается в том, что оно не оставляет сомнений в преданности его автора государству, на иждивении которого он состоит. Хотя произведению соцреализма не противопоставлены прямые декларации этой преданности (обычно называемые лирико-публицистическими отступлениями), хорошим тоном считается ее образное претворение — в форме высказываний, вложенных в уста положительного героя. В любом случае предпочтительнее дать понять, что автор не заимствовал свои убеждения из директивных документов партии, а как бы сам, своим умом дошел до них, путем приобщения к самой действительности. Поэтому произведение обыкновенно излагает историю жизни героя, которая оказывается историей о том, как ему наконец открылась правда всепобеждающих идей. Торжество положительного начала устраняет всякие подозрения относительно того, что автор может быть недоволен жизнью в стране и существующим порядком

Во-вторых, это произведение доказывает, что автор близок к народу. О близости к народу свидетельствует на-

родный характер положительного героя, рабочего или крестьянина, который либо трудится на родной ниве и у станка, либо становится крупным руководителем, не теряя, однако, связи с народной толщей, условием народности являюся также насыщенность повествования реалиями народного быта, недвусмысленность общей концепции произведения, понятный язык. Литература должна быть понятна народу. Ближайший смысл этой формулы сводится к тому, что произведение должно быть понятно начальству, понятно другим писателям и понятно читательской массе.

Наконец, третье качество оговорено в самом названии метода. Эта литература именуется реалистической. Попытки уточнить это понятие вновь заводят нас в тупик, поскольку литература социалистического реализма рисует жизнь, имеющую весьма мало сходства с действительностью. На это можно было бы возразить, что она конструирует некоторый высший мир, который относится к этой жалкой действительности как мир платоновых идей к миру вещей. Но тогда ей следовало бы придумать для себя другое название — либо оговориться, что термин "реализм" употреблен здесь в его классическом, средневековом значении. Однако речь идет о литературе, а не о философии — и тем более не о жизни. О литературе нужно судить с точки зрения литературы, а не с точки зрения жизни, замечательная особенность советской литературы состоит в том, что она не меньше, чем "настоящая" литература, является искусством для искусства. Дело в том, что понятие литературного реализма относится исключительно к поэтике, а не к предмету изображения. Произведение социалистического реализма именуется реалистическим не потому, что оно имсет претензию изобразить правду жизни, только правду, ничего кроме правды. Такая претензия немедленно привела бы писателя в подвалы ведомства, столь хорошо ему известного, и во всяком случае лишила бы его статуса советского писателя. Но оно должно быть названо реалистическим потому, что оно выполняет свои задачи — задачи партийности и народности — ясными и доступными средствами жизнеподобия, отсылающими читателя к знакомым ему элементам действительности. Именно эти средства гарантируют ту необходимую меру банальности, которая прибли-

жает произведение к апробированным образцам, делает его близким народному мировосприятию и мировоззрению литературно-идеологического начальства и удостоверяет благонадежность писателя.

Здесь мы подходим к главному – к вопросу о парадигме, с чего мы начали. Советская литература провозглашает себя преемницей русской литературы XIX века. Примерно так же письменность Третьего рейха объявила своими предками гениев немецкого прошлого. Не следует потешаться над этими притязаниями. Стоит задуматься над тем, почему эта литература ощущает себя в столь непримиримом противостоянии всем видам и направлениям нереалистической – и просто современной – литературы, почему она с ненавистью взирает на всякое новаторство, почему ее лозунгом, ее символом веры, ее парадигмой стал реализм. До сих пор мы говорили об организованной литературе как о беспрецедентном явлении. Придется, однако, признать, что она явилась на свет Божий не из пустоты.

Представим себе Толстого, который не умер и не был зарыт в лесу над обрывом, а, как старец Федор Кузьмич, укрылся в сибирских дебрях, там отсиделся и дождался светлой зари. Представим себе Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего свои кричащие противоречия, прочитавшего работу Ленина "Лев Толстой как зеркало..", ставшего на позиции всепобеждающего учения и самого передового мировоззрения; Толстого – маршала советской литературы, Толстого – лауреата премий, Толстого – генерального секретаря Союза советских писателей. Что написал бы этот Толстой, после того как он встал и преодолел? Можно ответить на этот вопрос. То, что в действительности написал другой генеральный секретарь роман "Молодая гвардия". Откройте и прочтите первый абзац. Его перо, не правда ли? Призыв Фадеева учиться у классиков, столь успешно реализованный им самим, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев "творческим методом" Толстого (в том, что он им овладел, сомнений не было), могут вызвать улыбку. Но в том-то и дело, что этот пудель, выстриженный под льва, – в самом деле его наследник. Советская литература не просто

”учится” у классической русской литературы, выращивая диковинный гибрид стилистики прошлого с передовым мировоззрением и всепобеждающим учением. Она пересаживает литературную парадигму, заданную писателями второй половины XIX века, в наш век. Она перенимает их зрение, их принципы организации повествования, их способ моделировать мир. Этот способ и есть то, что она называет реализмом.

Могучий и обомшелый ствол русской литературы, постепенно истончаясь, завершился советской литературой.

Поэтому мы наблюдаем удивительное явление. Организованная литература находит многочисленных и благодарных читателей. Авторы, не имеющие, казалось бы, никаких шансов удержаться на вертящемся диске литературной конкуренции, не падают, не слетают с него, но совсем даже наоборот. Из тридцати пассажиров, сидящих с книжкой в руках в вагоне московского метро, двадцать упиваются Валентином Пикулем, Петром Проскуриным или Анатолием Ивановым. Могут возразить, что дешевая беллетристика всегда найдет спрос. Но здесь не то. Советская литература — не рыночная словесность, и советский писатель — не развлекательный бульварный беллетрист. Не было еще на свете более серьезной литературы, чем советская.

Мы должны констатировать, что создав особый тип писателя, она воспитала и достойного ее читателя. Читателя, который находит в ней то, чего не может ему дать никакая другая литература — соединение современной отечественной тематики, современного реквизита, с традиционной литературной формой. Этого читателя не колышет, что часы советской литературы отстали ровно на сто лет. Зато она не утомляет его необычностью, не обескураживает сложностью, не угнетает пессимизмом, не ставит перед ним метафизических проблем, не оставляет его один на один с абсурдной жизнью. Зато в ней нет иронии, нет отчаяния, нет занудства, нет непонятных слов, нет непривычных выражений, нет символизма, нет модернизма, нет интеллектуализма, нет иррационализма, нет мифологизма — ничего этого нет. Мы должны определить литературу социалистической реализма как художественное прославление наро-

да в доступной ему форме. Советская литература спасает парадигму, ибо парадигма – литературный стиль в широком смысле слова – существенней для характеристики литературы, чем идеология; эта литература доказывает, что парадигма долговечней, чем разлагающаяся у нас на глазах идеология. Советская литература не порывает с традициями. Напротив, она их продолжает – как может. Поэтому советская литература есть именно то, за что она себя выдает, – единственная и неоспоримая наследница умершей русской литературы. Какая есть. А вы говорите. .



Читайте новую книгу
ЗИНОВИЯ ЗИНИКА

РУССКАЯ СЛУЖБА

«СИНТАКСИС»
ПАРИЖ
1983



Ирина Белова

ПОКОЛЕНИЕ, УТРАТИВШЕЕ СВОИХ ПРОЗАИКОВ

*Анатолию Гладилину,
которого мы знали наизусть*

*В сердцах, восторженных когда-то,
есть роковая пустота
(А Блок)*

Перефразировав в названии Р. Якобсона, предупредо-мляю читателя, что речь пойдет о поколении прозаиков кон-ца 1950-х – начала 1960-х годов, выделенных когда-то кри-тикой в особую группу под названием "4-е поколение", "исповедальная проза", "городская проза", "молодежная проза". Признавая условность всех этих определений, я прибегаю к последнему потому, что оно указывает на тог-дашний возраст писателей, их героев и читателей.

"Он родился в роковом году", – скажет о своем ге-рое Андрей Битов, и ясно, что имеется в виду год 1937 и все с ним связанное.

Писатели, о которых я говорю, родились чуть раньше, но какой же из тех лет не был роковым?

В 1956 году, когда они начинались как писатели (хо-тя "оттепель" началась, как понятно, раньше), на страницах журналов и книг, несмотря ни на какие ускорения, шло то, что писалось в 1954-1955, и было им в те годы всего-ниче-

го, особенно по сегодняшним меркам: А. Гладилину — 19-20 лет, Г. Садовникову — 21-22, В. Аксенову, Л. Жуховицкому, Ю. Семенову — 22-23, А. Кузнецову — 23-24.

Это о них* вначале писали как об открытии и открытии, им по совершенно непонятным, скорее всего ностальгическим причинам, симпатизировал Феликс Кузнецов (одна из вернейших примет того, что они не состоялись, не досказали, — иначе разве им по пути?), а потом был подведен итог: "Ее (городской молодежной прозы — И.Б.) поле зрения ограничено лишь одним типом героя; лишь одной разновидностью, связанной с его характером конфликтов; лишь одной сферой быта — быта, застывшего во внешних формах сугубо "материальной" цивилизации; лишь одним лексическим пластом, стилизующим городской "интеллектуальный" жаргон; лишь той художественной техникой, которая целиком опирается на повествование "от первого лица" и является здесь результатом утраты необходимой дистанции между авторами и персонажем"**.

И хотя у В. Ковского нет онтогенеза "молодежной прозы", с его выводами можно согласиться. Произведения этих писателей в принципе сводимы к набору ситуаций, функций и типов. И набор этот будет примерно таков: молодой герой уходит из замкнутого мира (варианты: по своей воле или вынужденно) в мир открытый, где тем или иным образом меняется.

Быт, город в "молодежной прозе" чаще всего условность, фон, неоклассицистическая деталь: "родной город" — и за скобки выносятся все, связанное с детством и ран-

* По мере отъезда "молодежных писателей" за границу критики, дабы сохранить возможность писать о самом явлении, подменяли имена, прибавляли тех, кого раньше к группе причислить было невозможно (А Рекемчук, В Липатов, В Росляков) Менялись и имена тех, кого "молодежной прозе" противопоставляли Вначале это справедливо были В Войнович, Г. Владимов, В. Максимов, теперь, когда о них говорить нельзя, это Г Семенов, В Шукшин, В Белов, Ю. Казаков, то есть писатели, которые заведомо не соотносили свое творчество с практикой "молодежной прозы".

**Ковский В Возмужание героя. — "Молодой коммунист", 1971, № 1, с 118

ней юностью; "чужой город" — непременно слегка экзотичен, хотя это не обязательно город — здесь важнее смена обстановки и — вслед за ней — изменения в герое (повзреление, осознание себя как личности, принятие решения и т.п.). Здесь утрачиваются привычные связи, теряют значение сложившиеся репутации — все заново, все и вся, жизнь и характеры — ab ovo!

Перемены могут происходить на комсомольской стройке ("Продолжение легенды" А. Кузнецова и "Бригантина поднимает паруса" А. Гладилина), или в Прибалтике ("Звездный билет" и "Пора, мой друг, пора!" В. Аксенова), или за границей ("Дым в глаза" А. Гладилина), или в море ("Звездный билет" и "Дым в глаза"), в Арктике, за Полярным кругом*

При этом профессиональная характеристика героя (даже если описана в деталях) отходит на задний план — важнее сам процесс становления. Важнее человечность, порядочность, надежность. Как норма взаимоотношений вводится мужская дружба ("Коллеги" и "Звездный билет" В. Аксенова, повести запоздало-"молодежного" М. Анчарова, "Хроника времен Виктора Подгурского" А. Гладилина) или полное единство отца и сына ("Первый день Нового года" А. Гладилина) с вариантом "старший брат" ("Звездный билет"), с вариантом "старший друг" ("Идущий впереди" А. Гладилина и "При исполнении служебных обязанностей" Ю. Семенова), сверхромантичная любовь ("Вечная командировка" А. Гладилина, "Мне бы крылья" Г. Садовникова, "Я сын твой, Москва" Л. Жуховицкого). Несмотря на споры (ср.: "Мы цапаемся жестоко, мы яростно молчим..." Р. Рождественского), единство помыслов и душ нерушимо, то есть норма — это обретение возможности понимания между людьми.

Еще одна отличительная черта этой прозы — точный адрес. Инвариантность основных "параметров" (хотя и совершенно иных) была важна и для прозы, непосредствен-

* Любопытно отметить, что по тому же маршруту — "родной город" (привычная жизнь) — "стройка, море" позже пройдут герои опубликованных в СССР произведений Г. Владимова, пройдут как бы сбывая с них оскомину романтичности и спасительности

но предшествовавшей "молодежной" (о значительных произведениях разговора нет, каждое из них живет по своим законам, речь о литературном фоне). Правда, там она диктовалась самим методом — "социалистическим классицизмом". В "молодежной прозе" мы имеем дело со знаками по причине вполне понятной: книги адресованы ровесникам, людям того же житейского опыта, вернее, той же житейской неопытности и тех же исторических условий. Взаимопонимание, узнавание зависели тогда во многом от возможности быть понятными с первых же слов, без договариваний, с умолчаниями. Введение в литературу городского молодежного жаргона, "идиотского остроумия, свойственного нашему кругу", — как позже охарактеризовал эту манеру объясняться В. Аксенов в "Маленьком Ките, лакировщике действительности", — событие, ошеломившее читателей и критиков, значило несомненно больше, чем обновление языка — по этому признаку узнавались "свои", "козлица" отделялись от "ягниц", зерно от плевелов.

Ирония "молодежной прозы" вначале приветствовалась, позже была переведена критиками в разряд "самоедства", "саморазьедающей рефлексии". Хотя про литовских и эстонских прозаиков можно и в 1981 году сказать: "Мало у кого в сегодняшней советской литературе развит в такой степени дар иронии, как у молодых эстонских писателей. А ведь это присущий высокоразвитому интеллекту дар, нужный во все времена, необходимый и нам сегодня, чтобы лучше бороться с тем, что мы отвергаем"*.

Несмотря на громкий резонанс, русская литература не обязана "молодежной прозе" никакими важными художественными открытиями. Ее герои оказались гораздо менее значительными, более плоскими и наивными, чем их создатели, и это показательно. Отсутствие глубины и многомерности в данном случае позволяют говорить об абсолютной однозначности их этики и эстетики, их гносеологии.

Что представляется важным для определения места и значения этих писателей? Прежде всего время вступления в литературу. Практически они, а с другой стороны, Войнович с Владимовым, Битов, Распутин — одно и то же поколе-

* "Литературное обозрение", 1981, № 9, с. 23.

ние, но на поверку поименованные писатели далеки от "молодежной прозы", и по разным причинам. Она начиналась чуть раньше, иногда всего на какие-нибудь два года, но эти годы — рубеж 50-х и 60-х годов. Обстоятельства, породившие "молодежную прозу", были в истории советской литературы беспрецедентными. Это "глоток свободы", схваченный пересохшими губами, это отдушина, это лава информации. полностью и на глазах менялись история, наука, история науки, культура, сельское хозяйство, низвергались авторитеты, деканонизировались советские святые и их учения. Каждый день приносил новое, и надо было успеть не просто услышать, но включить услышанное в систему с бесконечным числом фактов на входе.

А что было на выходе? Тоже информация. Наспех обобщенная, за недостатком времени не оцененная, не переработанная художественно, она взваливалась на героя, и он честно волок бремя рупора и резонера. Герои "молодежной прозы" точно передают мировоззрение и позиции авторов на каком-то уже пройденном этапе. Беда тут в несовпадении фаз: время менялось быстрее, чем писатели его осмысливали, могли осмыслить; быстрее, чем им того хотелось бы. Какое-то провидческое чувство торопило их. скорей, скорей, — а ведь ничто не предвещало сотрясения почвы. Они стремились выговориться, пусть назывными предложениями. Даже более поздние произведения в стремлении воссоздать те годы приходят к телеграфному стилю: "Представьте себе: 53 год. Сталин умирает. Берия. Критика культа личности. Правда о необоснованных репрессиях (...) А тут Берлинское восстание, слухи о восстании заключенных в Казахстане. Все шатается, самые основы дрожат"*.

Перечисление — один из самых ходовых приемов "молодежной прозы", — еще одно подтверждение ее "знаковости", это — обозначение набора признаков (знаний, событий), которые обуславливают тот или иной человечес-

* Кормер В Крот истории, или революция в республике Париж. 1979, с 32

кий тип (явление). Один из критиков так тогда и писал: "Да, Гладилин торопился, упрощал, огрублял"* .

Можно упрекать этих писателей в неточности деталей, говорить, что все они на одно лицо, но нельзя не признать, что именно в их книгах было сказано новое слово о поколении двадцатилетних второй половины 50-х годов. Это поколение видело, как одни (Фадеев), увидев вернувшихся с того света, предпочитали уходить в небытие, а другие, как Олеша, просыпались. "Молодежная проза" писалась людьми и достаточно инфантильными (откуда и взятыся другому?), и ошеломленными. К чему измышлять концепции, если за них свидетельствует скороговорка повестей, как бы имитирующая водопад информации.

Кажется, больше всех был потрясен открывшейся правдой А. Гладилин, к тому времени знавший, очевидно, меньше остальных и самый, вероятно, благополучный. Не успевая разобраться, расставить все по местам, он перечисляет: "После XX съезда мы узнали о трагедии 37 года, о трагедии первых дней войны, о ленинградском деле". Его герой поколения отцов говорит о сыновьях: "Для меня школой была гражданская война, а для них — 56-й год". (Кстати, вот они, последствия торопливости, доверия любой информации, противопоставление любого времени из истории страны именно событиям культа: гражданская война и 56-й год у Гладилина приравниваются, причем явно по признаку истинности. Это проявится у Гладилина и позже (Слишком мало накоплено опыта к 19-23 годам, да и тот поставлен с ног на голову, перелицован, переиначен. Приходилось начинать заново. А время не оставляло времени хладнокровно прогнозировать хотя бы даже ближайшее будущее.

Весьма показательно стремление некоторых критиков "молодежной прозы" выкорчевать ее из литературы, объяснить былую популярность модой, недоразумением, минутным заблуждением читательской аудитории. Один из самых страстных — А. Ланщикова. Свое воистину болезненное, отдающее черной завистью неприятие "молодежной

* Шитова В Урок истории и просто урок "Юность", 1960, № 5, с. 76

прозы” он проводит увлеченно и последовательно, не гнушаясь никакими натяжками и передергиваниями, ввязывается в спор с ”самим” Ф. Кузнецовым Тот объясняет появление героя этого типа 56-м годом — нет, говорит А. Ланшиков, ”оказывается, Подгурские-то появились в 1953 году”^{*} Смешно защищать махрового Ф. Кузнецова от блочной точности ”правдолюбца” Ланшикова. Конечно, 56-й год не точечная дата, а атмосфера, состояние общества. Да и почему же речь об одном Подгурском? Другие появились позже. И так ли уж это важно?

Натяжки идут у Ланшикова одна за другой. Нельзя в 1979 году писать об уехавшем Гладилине — будем ругать Аксенова. Саша Зеленин из ”Коллег” — типичный врач-просветитель, в концепцию критики это не вписывается, и главным героем ”Коллег” становится у нашего критика Максимов. Вот он тут на месте: и в деревню ехать не хочет, и вообще... А о Зеленине просто помолчим, не было его — и весь разговор. Надо обругать ”молодых прозаиков”? — Припомним им трудное детство остальных в поколении и легкое их собственное. А что у Аксенова отец и мать арестованы в 1937, когда ему всего пять, — промолчим. Напишем так. ”Трудными были детство и отрочество, но все же не настолько трудными, чтобы прервать нормальное развитие”. Подумаешь, без отца-матери, подумаешь, в немецкой оккупации (А. Кузнецов) — все равно ”не настолько трудные”. Зато, как утверждает критик, ”только поняв общественную сущность и психологию этого героя (”исповедальной прозы” — И.Б.), можно объяснить появление в нашей жизни различного рода молодых тунеядцев и других деклассированных элементов”. Как ни стараюсь, не могу припомнить в ”молодежной прозе” таких героев, кроме разве что антипода прекрасного Саши Зеленина в ”Коллегах”. Но этот Федор Бугров так яростно выкорчевывается, что впору подумать, будто он последний представитель преступного мира в Стране Советов. Это все равно, что по геро-

^{*} Здесь и далее цитируется по статье Ланшиков А ”Исповедальная проза” и ее герой. — В сб Жить страстями и идеями времени М, 1970 и книге А Ланшикова 1979 г., где эта статья переработана и дополнена

ям Достоевского выводить кривую роста преступлений или психических заболеваний. Так и вспоминается фильм Михаила Калика "Человек идет за солнцем" (цитирую приблизительно — фильма в СССР больше не увидишь): там блюститель порядка говорит ребенку, который облил подлца водой: "Сегодня ты человека облил, а завтра билетами в кино спекулировать будешь".

В 1970 г Ланшиков писал, что "авторам "исповедальной прозы" не удалось осмыслить явлений, которые происходили в нашей стране в последнее десятилетие" (потом, при переделке статьи, он назовет это десятилетие "теми сложными годами"), потому что их герои были далеки от реальности. Согласимся: из тех, кто стоял ближе, вышли такие, как Ланшиков, люди с ситуативной памятью, способные по мере надобности забывать имена, события, их смысл. А между тем этнографам известно племя, у которого были табу на самые важные понятия — место стоянки, названия животных, имена умерших — теряло память и переставало существовать. По Ланшикову все просто: "XX съезд партии вынес им (отрицательным героям Рослякова и иже с ними — И.Б.) свой исторический приговор". Но есть в этом благоденствии нота диссонанса: отчего же "молодежная проза", тоже кричавшая о наказании и приговоре, вдруг оказалась в стороне от таких важных процессов? Что же помешало ей идти в ногу со временем? Не слишком ли хорошая память?

Один из писателей полумифического поколения сорокалетних (самого молодого из активно действующих и учитываемых в сегодняшней советской литературе) говорит: "Мы — первое поколение советских писателей, не замешанное на политике". Это и верно, и неверно. Неверно, потому что имперские замашки есть и у кое-кого из них. Верно, потому что у этих сорокалетних было время оглядеться. Отталкиваясь от непосредственных предшественников, они привыкли понимать, что не нужно бежать на зов времени, "в минуты роковые", и жить нужно не этими минутами, а чем-то, на первый взгляд, может быть, более изменчивым и частным, зато при ближайшем рассмотрении гораздо более устойчивым — человеком, его стержнем, его связующими нитями, его чувствами или бесчувственно-

стью, самими его возможностями. Описывать не время, иллюстрируя его человеком, а человека, и уже через него — время.

У "молодежной прозы" мерой реальности была сама реальность. И определялась она тем, что в "исторически кризисные моменты (...) социальные институты дискредитированы и самая идея общества воспринимается как синоним угнетения"*.

Идее безликой машины-коллектива и человека-винтика "молодежные прозаики" противопоставили неизмеримо возросшее значение отдельной личности (отсюда и названия типа "Хроника времен Виктора Подгурского"). Парадоксально, однако, что эта новая личность видится молодым прозаикам тоже членом коллектива, только нового, "здорового", состоящего теперь из гармонично развитых единиц (продолжая проследить эстетику названий, приведем пример и здесь — "Иду к людям" Г. Садовникова). И этот, и другие парадоксы "молодежной прозы" имеют общие истоки: этика, эстетика, сами нравственные постулаты формировались у них от противного, вопреки, а это неизбежно вело к прямолинейности и однозначности. Если нам сказали, что *тогда* (читай во времена культа) были плохие коммунисты, то теперь, после того, как партия сказала всю горькую правду, быть коммунистом почетно. Отсюда, как пишет Аксенов в "Звездном билете", "давайте будем считать, что Виктор погиб уже коммунистом" (он погиб за два месяца до выхода из комсомольского возраста). Отсюда и неукоснительное соблюдение "нравственной симметрии произведения", где герой-подлец непременно должен быть разоблачен и заклеен своим антиподом, прекрасной (читай: общественной) личностью, например, "Суета сует" Г. Садовникова, "Дым в глаза" А. Гладилина и т.п.

Одно время они так и считали: все мерзости, все преступления против человека разоблачены, идет реанимация памяти, возрождение общества, возвращение идеалов. Главное — возврата к старому нет. Как это по-базаровски сформулировал герой "Звездного билета": "Может быть,

* Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. I Тарту, 1970, с. 27.

вот оно — бить ломом в старые стены? (...) Расчищать те места на земле, где стоят забытые старые стены". Но и дальше все шло именно по-базаровски. Ради чего, собственно, разрушать? Базарова пришлось заразить трупным ядом, единственного дееспособного героя "Звездного билета" ухлопать на испытаниях, а Димка Денисов, апологет разрушения старых стен, остается жить, тяжело перенеся смерть старшего брата, и вот тут-то завеса стыдливо опускается; на что он способен — абсолютно неясно. Пока у него за душой одни экивоки да метания

Авторы "молодежной прозы" видели свою социальную задачу в необходимости быть глашатаями истины. Но многое воспринималось ими как данность: было плохо — будет хорошо. И так хотелось во что-то верить, когда из-под ног ушла почва. А между тем уже прозвучал вопрос Ю. Орлова: давайте разберемся, а не закономерность ли то, что было? Не присуще ли искони этому строю? (А значит, в рамках его и неизменно). До осмысления этого, даже до самой постановки вопроса наши авторы в ту пору не доходили, ограничиваясь бодрой, сродни Ланшикову, констатацией: "Мы поняли, что поколение наших отцов (...) нашло мужество раскрыть все ошибки и злоупотребления прошлого" ("Первый день Нового года" А. Гладилина). И не было провидцев, и не было необходимой дистанции между автором и героем*. Спешило самовыразиться авторское "я", и легче всего это было сделать путем простейшей подмены "герой — автор".

Этому сопутствовало ощущение свободы, отсутствие страха, раскованность, возможность ездить по стране, тоже открывшаяся совсем недавно. Они поняли, что могут писать о вещах, еще вчера запретных, клясться правдой и присягать ей на верность. Герои и их творцы осознают себя прежде всего представителями поколения (еще и отсюда

* Только где-то на заднем плане, на фоне замаячила у Аксенова лепая, жалкая фигурка "неприкаянного" — вначале Алик в "Звездном билете", потом Кянну Кукк в "Пора, мой друг, пора!" — герой, который оказывается не в тон общему настрою. На первый план он выйдет только в рассказах, но там уже другой Аксенов.

желание удвоиться, утроиться*), провозглашают декларации. Один из игравших тогда в либеральность критиков объявил их "возомнившими себя гражданской совестью" (А Макаров). Они не возомнили, они считали, что гражданской совестью может стать каждый, кто отрекся от лжи. Они же — по молодости лет — не успели даже стать участниками этой лжи, им было легче, чем многим.

В году 1963-64 и даже чуть раньше эти писатели не могли не почувствовать, как перехватывает горло, как заворачивается узкая щель правды. Раньше перехватывало горло от волнения, теперь от духоты. Их темы пробуксовывают, герои не успевают созреть в гражданском плане, потому что оказываются не способными на уловки, на эзопов язык, не подготовлены к борьбе — ведь правда сама шла в руки, казалась непреходящей.

Еще только начал печататься опоздавший Анчаров, еще по инерции публикует Гладилин "Историю одной компании", судорожно и тщетно пытаясь заставить своих героев взяться за руки и создавая иллюзию единства уже не двоих-троих, а целых шестерых мужчин, а у Аксенова в "Пора, мой друг, пора!" мужская дружба связывает уже троих подонков, плейбоев, да и вообще роман читается как автопародия.

Становится ясно шаг в сторону — и ты под обстрелом. Благоразумный и малоразборчивый во всех средствах, кроме денежных, Ю. Семенов бросается в воспевание контрразведчиков, отходят, уступают и другие. Садовников, Аксенов, Гладилин пишут детские книги, художественные биографии из серии "Пламенные революционеры", а "Литгазета" тем временем уже организует травлю Кузнецова культурной общественностью за рассказ "Артист миманса", уже кается издавшийся за рубежом Гладилин, уже упрекают Аксенова в "проповеди иллюзорного гуманизма" (А. Макаров) и рассерженные граждане-ударники ком-

* Пресловутое сходство с Ремарком, которое было на устах всех критиков, думается, следует объяснить сходством самой социальной ситуации: дискредитация общественного начала оборачивается доверием только к общечеловеческим ценностям, как девальвация слов и пафоса — доверием к поступку и бытовому жаргону.

мунистического труда через газету "Известия" задают Аксенову сакраментальный риторический вопрос. "С кого вы пишете портреты?" ("Известия" от 14.8 1965 г)

Как тут не вспомнить Окуджаву – "Нам время подарило пустые обещанья" и как не вспомнить лермонтовский эпиграф к "Мцыри" – "Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю"?"

Гладилин еще ищет возможность высказаться В "Евангелии от Робеспьера" он подробно, тщательно выписывает прежде всего основы, устои и заветы нового, небывалого государства "Отныне виноваты или не виноваты люди, представшие перед судом, должна определять революционная совесть судей Только так революция сможет быстро и справедливо расправиться со своими врагами" "Народу должно быть ясно, что зловещие щупальца иностранного заговора охватили не только мошенников, но и политиков"; "Ради счастья миллионов надо пожертвовать тысячами" Полноте, неужели это о Франции" – "А так как мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике" Над всеми художественными целями превалирует одно желание обнажить сходство, показать неизбежность краха И снова провал нет положительной программы, нет альтернативного варианта. Оно и понятно "молодежная проза" писалась первым и единственным в Советском Союзе поколением, которому в момент своего литературного определения не приходилось делать выбора между конформизмом и неконформизмом, эти понятия в их практике вначале просто не существовали Тем острее они ощутили необходимость выбора позже, когда конформизм привел Семёнова к воспеванию сильной личности, а неконформизм Гладиллина – к восхищению жертвенностью

"Евангелие от Робеспьера" написано человеком, поставившим на одну доску по крайней мере еще три воплощения этого идеального общественного устройства Германию 30-х годов, СССР и Китай времен "культурной революции" Гладиллина разведает ирония и боль Спор еще не окончен Его следующий герой – политик Иншолит Мышкин противник Робеспьера "Но объясните мне, какие именно требования народа удовлетворил Робеспьер? Он обещал хлеб, а в стране царил голод Он обещал мир, а во

Франции разразилась гражданская война. Он обещал свободу личности, а всех инакомыслящих казнили на гильотине". Мышкин-то и приходит к единственно возможной для нас сегодня положительной идее: идее личного неучастия во лжи. Кроме нее, да еще достойной гибели, ему предложить нечего.

Положительная программа "молодежной прозы" не могла не быть расплывчатой уже в силу двоемыслия официальной программы, которую они горячо поддерживали в своем неведении и прекраснодушии. Суть их тогдашнего мироощущения лучше всего выразил Арсений Тарковский: "В слове "правда" мне чудилась правда сама". Они жили полной жизнью, но строили свое здание без учета глобальных потрясений, с полной безмятежностью.

Может быть, именно поэтому сходны даже перемены, намечавшиеся в их творчестве: все они, так или иначе, проявляли интерес к изображению так называемой "сильной личности", человеку приспособляющемуся, выживающему. Этот интерес есть у всех из них, но наиболее последовательно противопоставление просто человека или даже человека слабого сильной личности стало прослеживаться в рассказах Аксенова, свидетельствовавших о все возрастающем мастерстве писателя. Ощущения его героев при встрече с сильной личностью разнятся. Они испытывают подавленность ("Победа", "Маленький Кит..."), застарелый страх ("Завтраки 43-го года"), желание уйти от всего внешнего в свое дело ("Дикой"), закрыть глаза на хамство, попытавшись объяснить его "обратной реакцией" — преувеличенной застенчивостью ("Ранимая личность").

Однако видя в сильной личности главного противника, узнавая ее в окружающих, изучая, иронизируя и ненавидя, "молодежная проза" ошиблась в том, что ее сменят в литературе "юркие мальчишки". Оставаясь в первой половине 60-х годов, она уступает центр современной литературы "деревенской прозе". В поисках объяснения этого явления А. Ланшиков согласен даже заочно солидаризироваться с Ф. Кузнецовым, который, отметив этот процесс, объяснить его не сумел: "Озадачивает порой неожиданная логика движения нашей литературы. Почему, например, в пятидесятых годах для многих молодых прозаиков и критиков

центром движения была так называемая "исповедальная проза" с ее мятущимся героем, а к середине шестидесятых годов на первый план вышла проза, во многом противоположная..." (Ф. Кузнецов). А вот и сам А. Ланшиков, ссылаясь как на причину подобного явления на возраст героев, противопоставляет "молодежным прозаикам" В. Шукшина, В. Лихоносова, В. Белова, которые "редко обращались к образу своего ровесника".

Вплотную подходит к объяснению, но объяснить, что же все-таки помешало писателям так называемого "четвертого поколения" расти дальше, не может. Не может, потому что исходит из предпосылки: после XX съезда была сказана вся правда, отстранены и осуждены негодяи и развитие страны пошло по верному руслу.

На деле же была прервана связующая поколения нить, нарушена преемственность. В произведениях авторов, о которых мы говорим, явно прослеживается родство с пареньком из очерка В. Некрасова "За 12 тысяч километров", встреченным им на Красной площади в день выноса из мавзолея тела Сталина. Он говорил: "Мы вам не верим. Ни одному слову не верим. (...) Вы сами меня к этому приучили"*.

Не вдаваясь в полемику, отметим только, что жизненная программа двадцатилетнего человека строится на отказе от всех предшествующих моральных, социальных, исторических и общественных ценностей. Мирозрение зиждется на отрицании. Взыскующий правды... Поколение этих прозаиков было обречено, потому что объединялось не верностью литературным традициям и не общностью художественных принципов — это было поколение, выводившее свое творчество за рамки художественного явления и сделавшее его явлением прежде всего общественного бытия. Потому-то и выплеснулось это в художественном плане прежде всего (а у некоторых и ограничилось) в языке. Нет правды бытия — и нет этих писателей. Чем утолить жажду, коли иссяк источник?

Это главная беда "молодежной прозы". Не знаю, осознаваемая ли теперь. Но тогда, не замечаемая ими, она все-

* Некрасов В. За 12 тысяч километров — "Грани Избранное" сб. № 3, 1917-77 гг., с. 308.

таки прорывалась в книгах. Есть в "Вечной командировке" у Гладилина весьма характерная с этой точки зрения деталь. Бывший деревенский паренек, ныне рабочий на стройке, показывает герою повести контрразведчику Краминову свой фотоальбом: "На первых страницах, надев свои лучшие костюмы и платья, сидели старики, выпустившие из карманов цепочки часов, и старухи в нарядных полushалках. Напряженно и тупо смотрели они в глаз объектива и теперь этим взглядом провожали меня, пока я листал альбом. Передо мной мелькали маленькие ребятишки, деревенские хаты, березки, солдаты, солдаты поодиночке и выстроенные целыми подразделениями. (...) Деревня, армия, девушка Зина. (...) Вот и весь Вовка". А теперь оставим Краминова иронизировать над простаком Вовкой; заглянем в его альбом. У него, правда, альбома нет, но он знает, какие фотокарточки поместил бы туда. "Первая: молодой человек с девушкой. У молодого человека, естественно, целеустремленный взгляд, а девушка, как положено, склонила голову ему на плечо. Вторая: просто девушка. На обороте карточки – дарственная надпись Третья фотография: маленькая девочка очень деловито тянется к бутылке с соской".

То-то и оно: у недалекого Вовки есть свой мир, своя история: деды, бабки, березки, деревня. Не в пример супермену Краминову он прекрасно знает, "откуда он есть пошел". А откуда Краминов? Его мир лишен памяти, он начинается с самого героя. Мир без связей, без корней, без почвы. Вот где заложено неминуемое поражение "молодежной прозы": нет у ней памяти и нет почвы. Степь голимая. Это ее вина и беда. от каких-то корней отrekliсь сами, отказываясь от ошибок отцов; какие-то не дано было познать – связующая нить была разорвана где-то задолго до них. А какой хаос откроется нашему взору, если взглянуть на литературные реминисценции у этих писателей. Бесплезно пытаться определить их, как они сами (Л. Жуховицкий) просят, – по 10 стихотворениям. Потому что у Гладилина в одну кучу свалены Гейне, русские романсы, древнекитайский поэт, Окуджава, Блок, Кишлинг и, за редким исключением, все – повторы избитых цитат, у Семенова отсыл к своему поколению – тому же Гладилину, Амлин-

скому, а еще Симонов, Тихонов, у Жуховицкого знаком "совы" отмечен физик, знающий наизусть "Брагу" Тихонова, упоминаются Хикмет, Пушкин, Твардовский, Луговской, у Аксенова, наиболее интеллектуального, — "Каховка", Маяковский, Хлебников, Есенин. Не так уж много, а между тем это пишется в годы взлета поэзии и естественно-го обращения к русским поэтам недалекого прошлого. Проследить этот процесс по произведениям "молодежной прозы" невозможно.

Стоит ли в таком случае поражаться и озадачиваться тем, что авторов "молодежной прозы" сменили писатели- "деревенщики"? Когда плохо ориентирующиеся в океане информации (это еще раз блистательно доказал в "Дыме в глаза" Гладилин со своим пафосом утверждения правоты советских танков на улицах Будапешта 56-го года) эти прозаики растерялись и "молодежная проза" стала разваливаться, на смену им пришли люди с четкой социальной и нравственной ориентацией, с веками вырабатывавшейся шкалой ценностей, писатели, которые живут не веяниями, а устоями и болью за то, что эти устои расшатываются. В быстрой чехарде политических устремлений, в борьбе за власть и сжигании всего, чему вчера поклонялись, в атмосфере всеобщей растерянности и неопределенности, необеспеченности слова и понятия в русской литературе — верном летописце общественной жизни — должны были естественным образом возобладать люди, более других удаленные от политики, карьеры, сиюминутных реакций, люди, для которых прошлое вело отсчет не с 1917 года*, а с неподдельной истории Руси, писатели, в произведениях которых "дышат почва и судьба" Вне всяких сомнений ими в то время могли стать только "деревенщики"

"Беспочвенничество" наших авторов не следует соотносить с понятием "почвенничества" в русской литературе второй половины XIX века. "Беспочвенники" 1960-х годов — это поколение, которое поманили правдой, свободой, "оттепелью", одним только обещанием их, а потом выбили

* Дальше гражданской войны "молодежная проза" в историю России не углубляется (за исключением разве что школьных знаний учителя-историка из повести Г. Садовникова "Иду к людям")

зыбкую почву из-под ног. Иное дело, почему весенняя распутица была для них единственной почвой, почему не выросли они корнями в русскую культуру, не перешагивали через поколения отцов и дедов к прадедам (как у Мандельштама — “минуя внуков, к правнукам уйдет”). Это другие вопросы.

Не нам упрекать их. Они за свое “беспочвенничество” заплатили дорогой ценой — в недалеком будущем их имена вытащит из-под спуда разве что какой-нибудь очень уж добросовестный, не в меру дотошный историк литературы. Вытащит, повертит в руках и за невозможностью использовать сунет обратно.

Их забудут, как только уйдет из жизни мое поколение — поколение аксеновского Димки Денисова и Кяннукукка. Поколение самых последних идиотов, сформировавшихся в вере уже XXII съезду и обманутых точно так же. “Дальнейшее — молчание”.

Кажется, все. Осталось сказать последнее. как мы вас всех любили и как ничего еще не понимали. Ведь когда младшему из вас — Гладилину — было 26 (в год XXII съезда), нам было по 15, и кто бы мог предвидеть, что черт-те где и то покажется вам лучше, чем на родном беспочвье, в родном безвременьи, и как саднит душу судьба ваша и судьба молчащего Садовникова, и переметнувшегося Анчарова, и отстранившегося Жуховицкого. Даи Бог, чтоб вам не было так уж горько и больно. Привет вам, благодарность и прощальный поклон.



Прислано из России

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТОВАРИЩА

Клара позвонила в начале мая, после праздников: "Ты знаком с Юликом К.?" — "Да, конечно". — "Понимаешь, мне не нравится Юрина рука, врачи говорят по-разному, я им не верю, да и какие врачи в Литфонде, а рука у него болит. Может, нужно оперировать, одним словом — пусть будет ясность. Он хороший хирург?" — "Еще бы, а кроме того наш товарищ и замечательный человек". — "Я знаю, но учти, Юра не должен знать, что я тебе звонила, он не хочет никого обременять, говорит ерунда, но я-то вижу, ему плохо. Скажу, он тебе нужен зачем-то..."

Я позвонил Юлику, и мы тут же договорились. Он, конечно, удивительный человек, Юлик. Моя жена называет его — "Диккенсоновский чудак". Может быть. Мы знакомы чуть не двадцать лет, сколько раз я видел его в деле, сколько раз лез к нему по самым разным поводам, кого только к нему ни таскал Другой раз ночью: "Ты спишь?" — спрашиваю. — "А ты сомневался?. Куда ехать?" — "Так ты ж спишь", — говорю. — "Конечно, сплю, я уже во сне штаны надел. Давай адрес — куда?"

Мне было просто к нему обращаться, уж очень он легко откликается, да и за других — всегда легко. Тебе со мной хорошо, говорил я ему, сколько лет, а ни разу до себя не допустил Да, говорит, с тобой замечательно, сплунь и не зарекайся. Прав оказался, отвезли недавно, погулял надо мной, да и знакомство наше началось с того, что он был врач, а я пациент сразу вылечил и тут же коньяком

напоил. Диккенсоновский чудак Ну тогда-то мы молодые были, все ерунда, это теперь что ни месяц с кем-то что-то происходит Ты бы бросил больницу, сказал я ему как-то, откуда у тебя силы, сидел бы писал, а то все ножик точишь... Теперь с вами самая работа начинается, говорит, созрели яблочки.

Домбровский позвонил в тот же день. "Я договорился с Юликом, — говорю, — давай завтра" — "А у меня не болит, так, мозжит, если не пью". — "Ну и хорошо, — говорю, — повидаемся". — "Кларка настучала?" — спрашивает — "Би-би-си передает" — "Ладно, — говорит, — мне все равно тебя надо увидеть. Да и Юлик хороший мужик"

Мне только улицу перейти, опоздал минут на десять Издалека видно — колоритен, ничего не скажешь, ходит вокруг памятника: большой портфель, куртка заграничная, а ботинки не зашнурованы, рука подвязана бинтом, скособочился и голова на боку, черный клок закрывает лицо. Я подождал, пока он сделает еще один круг.

— Здравствуй, Юра, прости, что опоздал.

— Слушай, — говорит, — ты как считаешь — был Петр в Риме?

— Какой Петр?

— Ты подумай, — говорит, — вся католическая доктрина на этом держится, а если разобратся...

— Только не здесь, — говорю, — а то опоздаем.

— Да?.. Ну поехали, вон автобус на той стороне.

— Нет, — говорю, — на автобусе мы не успеем, там еще пересадка, а у тебя рука. И он на операцию уйдет.

Смотрит на меня с сожалением, вздыхает

— Ладно, поехали на такси.

Садимся, едем Шелкает замком портфеля, тянет тяжелый том. дает мне, а сам вроде в другую сторону .

— Юра! Поздравляю... "Факультет ненужных вещей"! Что ж ты молчишь? Какая бумага! Много опечаток?

— Нет, — говорит, важно гак, — ни одной Ни одной строки не изменили

— Замечательно, — говорю. — Подаришь - я все-таки первый о нем написал?

— Подарю, — и прячет книгу в портфель, — одна толь-

ко.

Соврал, конечно, еще были. Так и не подарил. Ну эта жадность понятная — как он ждал эту книгу, как много она значила для него, да и сколько их — пустяк.

— Все-таки Гутенберг — великое дело, — говорю, — по-другому читается. А тут еще переводы пойдут...

Ему хочется о книге, но неловко, это когда выпьет — хвастается, а стрезва ни за что.

— Вышла и Бог с ней. Так вот я насчет Петра в Италии.

Как же — Италия! Тоже так вот ехали с ним в такси, отвозили вдвоем с приятелем из писательского клуба, в клуб мы тогда ходили. Он уже хорош был, шофер заартачился или цену набивал "Не повезу в таком виде" — "А ты знаешь, кого везешь?" — спрашивает Домбровский. — "А что тут знать — видно". — "Я знаменитый писатель". — "Видать какой писатель". — "Да у меня в Италии только что роман вышел..." — "Молчали бы, — говорит шофер, — скажите спасибо — везу". — "Ах так, — завелся Домбровский, — давай побьемся Тебе еще долго работать или кончил?" — "Ну кончил" — "При свидетелях, — говорит, — если у меня дома нет романа — с меня червонец, а есть — везешь за свой счет" — "Ишь ты, — говорит шофер, — писатель. Поехали".

Приезжаем Домбровский сам выбирается из машины — и в подъезд, мы за ним, смотрю и шофер хлопнул дверцей, идет следом, ухмыляется

Лестница жуткая, поднимаемся дверь в коммунал открыта, а дверь в комнату и вовсе настежь. "Заходите, — говорит Домбровский и сразу бутылку на стол. — Ты где там, Фома-неверующий?" Махнул ногой, ботинок слетел вместе с носком, второй так же — и полез на тахту, на стул, на стол... Я и не ожидал, ишь, думаю, какой он шустрый. Полка с книгами под самый потолок, вытаскивает, смотрит, посыпались, пыль столбом. "Ладно, — говорит Домбровский, — найдем, сначала выпить, сейчас пельмени..." Слетает со стола и мимо нас в дверь.

Шофер присел у стола, озирается с любопытством, первый раз кого хочешь ошеломляло это логово — еще до Клары было, другая квартира: книжные полки, стеллажи, на стенах картины в рамах, без рам, иконы, письменный

стол завален книгами, бумагами, обеденный – невытой посудой. .

Пять минут не прошло, влетает – и кастрюлю бряк на стол, на какую-то книгу Горячая вода, плещется. Стаканы, открывает бутылку... "Все, – говорит, – сели, разлили, выпили". – "Ну что, – говорит шофер, – с вас червонец, хотя и вижу, писатель". – "Стоп! – кричит Домбровский, еще не успел хлопнуть стакан, – а это что?" Сдернул кастрюлю с книги – шикарный супер, на нем жирный круг от кастрюли: "Вот он, итальянский..."

– Ты что, – спрашивает, – не слышишь, что ли? Я о том, что на сочинения Евсевия и вовсе нелепо ссылаться, там что ни факт – путаница. .

– погоди, – говорю, – как бы нам самим не запутаться, вроде поворачивать.. Да вот она, больница, приехали

Въезжаем во двор, сворачиваем к хирургическому корпусу. . Только вошли, раскрылась какая-то дверь – белые халаты, как раз успели, у них "пятиминутка" кончилась. Домбровский портфель на пол и поклон – в землю. Юлик даже оторопел, закусил рыжую бороду "Здравствуйте, Юрий Осипович, поднимайтесь ко мне, я сейчас .." Поворачиваем на лестницу, слышу Юлика спрашивают "Это что за чучело?" – "А это, – говорит, – не чучело, а европейски-знаменитый писатель Домбровский". – "Ну, к тебе кто только не ходит..."

Поднимаемся, в дверях кабинета ключ, входим. Здесь тоже есть на что поглядеть, в кабинете у нашего доктора. портреты, изречение из Ницше. . Пижон, конечно, Юлик Но Домбровскому это все до фонаря.

– Понимаешь, – говорит, – старичок, если мы раскрутим Евсевия. .

Входит Юлик и еще кто-то в белом халате

– Я вам специалиста привел, Юрий Осипович, знаменитого травматолога, а то я дилетанг.

Стоило ли, – говорит Домбровский, – мы просто так заехали, повидаться, да и не болит уже

– Заехали, раздевайтесь, – говорит Юлик, – в нашем монастыре такой устав

Раздевается. Здоровый мужик, думаю, а ведь постарше меня чуть не на двадцать лет. . На двадцать лет лагеря, думаю

Смотрят, щупают

– Так не болит? – спрашивает травматолог.

– Это разве болит, говорит Домбровский, – вот когда они на меня пятнадцать человек насели в автобусе.

– Кто? – спрашивает Юлик.

– Эти самые, архангелы. Среди бела дня, трезвый, – глаза у него правдивые, как у ребенка, – стою в автобусе, читаю книжку по римской истории – один книгу вышиб, а другой приемом.. Ну я им показал прием, восемь человек легли, а эти навалились. Они, конечно, что ж еще

Травматолог раскрыл рот, а Юлик ухмыляется в бороду.

– Снимки есть? – опомнился травматолог.

Домбровский щелкает портфелем, достает снимки

– Будете оперировать?

– Вам сколько лет? – спрашивает травматолог

Домбровский не отвечает.

– Через год семьдесят, – говорю я

– Стот ли, да? – спрашивает Домбровский

– Да нет, – говорит травматолог, – все у вас нормально, разработаете. Я вам гимнастику дам

– И все дела?

И все дела. Приятно было познакомиться, травматолог уходит

Домбровский все еще голый по пояс, кособрюхий, держит портфель, смотрит на меня

– У него книга вышла, – говорю, – в Париже. Показал бы доктору

Тут же вынимает книгу

– Поздравляю, – говорит Юлик, – а я еще не читал, обещал ваш дружок, разве дождешься

– Я вам подарю, – говорит Домбровский и прячет книгу в портфель – Вы бы мне свою подарили, тоже обещали

Юлик открывает стол – тоже толстая, ну известно, не в Париже, бумага не та. Домбровский берет бережно – и опять в землю поклон

– Пойдемте, – говорит, – что тут сидеть, поболтаем

– У меня операция, – говорит Юлик, – другой раз

– Да? Жалко

Прощаемся, уходим.

— Хороший мужик, — говорит Домбровский, — видел какие у него глаза?

— Какие? — спрашиваю.

— До себя не жадные. Я его давно заметил. И пишет хорошо.

— Хорошо, что тебя резать не нужно, — говорю. — И Клара успокоится

— Да, — говорит, — Клара Ты Леню Т знаешь?

— А как же.

— Он уже месяц лежит, а до того два месяца в больнице, опять ноги поломал. Ему необходимо принести, у него тоска Давай позвоним, только ты звони, а то у него жена монашка...

— Какая же она монашка, — говорю, — если она жена, а он ей муж?

— Да? Ну, одним словом, меня она не жалует

Мы уже вышли из больницы, тепло, деревья зеленые, вон и автомат. Набираю номер.

— Ты узнай, дома ли жена, — шепчет Домбровский, — если дома — пиво, а если нет — мы ему водки притащим

— Мы тут с Домбровским, — говорю, — в больницу ездили по поводу его руки .. Да в порядке рука, он еще всем покажет . Хотим тебя навестить, ты один? Тогда только пиво..."

— Эх, — говорит Домбровский, — нет у нас свободы

Подходим к стоянке такси

— С ума сошел, — говорит, — вон автобус

— Да куда ты с больной рукой, народу сколько. У меня есть деньги.

— Сколько?

— Как раз на такси

— Как раз на четвертинку, — говорит, — побежали на автобус

Автобус битком, жарко.

— Береги руку, Юра! — кричу Он сосредоточен, мрачен. "Опять про Петра, наверно"

Пересадка, теперь троллейбус Наконец, метро по-свободней и прохладно, места есть. Сидим, он молчит, напряженно о чем-то думает...

— Выходим!

— Нам еще далеко, — говорю.

— Выходи, выходи, дело есть .

Арбат, ничего не понимаю. Идет быстро, кособочится

— Давай потрфель, — говорю, — тяжело.

— Тут, понимаешь, мастерская, один художник, — поворачивается ко мне, — тебе обязательно познакомиться

— Зачем?

— Ты ж еврей, ну и он — еврей. Надо познакомиться. У него картины интересные. Вон за углом, во дворе

Заходим во двор, одноэтажный флигелек. Домбровский стучит в дверь, в окно. Еврей не откликается

— Куда ж он делся? — удивляется Домбровский.

— А вы договаривались?

— Он всегда здесь.. Эх, невезение

Выходим на бульвар, топаем к Кроногкинской молчит, мрачный.. Вдруг останавливается, глядит на меня, будто впервые увидел..

— Что случилось, Юра?

— Мы должны выпить и — немедленно, понимаешь: не-мед-ленно!

Вот зачем — Арбат, мастерская, еврей-художник. .

— А как же больной товарищ? — спрашиваю

Не отвечает целеустремлен, решителен, не остановишь. В начале Метростроевской магазин, очередь

— Так, — говорит Домбровский, — берем бутылку...

Давай твои деньги . И четвертинку

Берем бутылку, четвертинку. Домбровский вытаскивает книгу в яркой парижской обложке, книгу Юлика, еще книги, устраивает все в портфель. Выходим на улицу.

— Куда теперь? мне интересно.

Не отвечает зачем отвечать на пустые вопросы

Выходим на Волхонку, мимо музея, Ленинка, Лебяжий переулок, пельменная

— Вот она, — говорит, а ты сомневался

Обеденный перерыв, голкучка, жара, самообслуживание. Домбровский напряжен, как в бою

— Держи портфель и занимай столик, а я сейчас

Столика нет, конечно, не ресторан, захватываю два

места, сажусь, ставлю портфель на второй стул. Рядом две девочки-студенточки кушают пельмени, запивают сладкой водичкой. Черный клочок Домбровской о торчит над головами

– Помочь?! – кричу, как в лесу.

Мотает головой, не надо, мол.

Тащит поднос, придерживает грудью две тарелки пельменей, стаканы, хлеб. Разгружаем, садится

– Давай ты, – говорит, – а то одной рукой под столом неловко.

– Четвертинку? – спрашиваю, – а бутылку товарищу?

– Нас двое, – говорит, – а он один. Это будет безнравственно по отношению к нам. И к нему, кстати.

Резонно. Наливаю под столом два стакана, бутылку опять в портфель

– Ну, – говорю, – по случаю удачного завершения операции..

У студенточек ужас в глазах. Водка теплая, стаканом трудновато.

– Так вот, – говорит Домбровский и, забыв про вилку, хватает пельмень пальцами, – был ли Петр в Риме? Важный вопрос, между прочим. Я тебе рассказывал, как меня допрашивали на Лубянке?

– Когда допрашивали?

– Недавно.

– Нет, не рассказывал.

– Повестка, все как положено...

– По какому делу?

– Без дела, – говорит, – еще будет дело

– Так не бывает, – говорю, – или свидетель по делу, или беседа. Что было в повестке написано?

– Молодой такой хмырь, – говорит – “Читали, мол, “Хронику текущих событий”?” – “Конечно, читал”, – говорю

– Так тебя по “Хронике” и вызывали? – спрашиваю, ну работнички!

– По всему сразу, – говорит Домбровский.

У студенточек щеки горят, на нас не смотрят, уминают свои пельмени, вот-вот вспорхнут

— "А какой интересно вы номер читали?" — спрашивает тонко — "А я, — говорю, — все читал. Подписчик".

— Ты ешь, — подаю ему вилку, — а то жарко.

Он мнет хлеб, крошит в пельмени

— "А кто вас.. подписал?" — спрашивает и ручку занес над протоколом "Может, вам ключ, — говорю, — дать от квартиры, где у меня деньги спрятаны . " Давай по второму, а то выдохнется.

Разлил бутылку, спрятал пустую в портфель Выпили.

— "Кто ж это все составляет, правда, любопытно?" — хитро на меня глядит, ишь, думаю, научили вас — "Это-то я знаю, — говорю ему, тут никакой хитрости". Он даже привстал над столом. "Кто?" — "Да мы и составляете, — говорю, — здесь, в этом кабинете, ну, может, в соседнем .."

Студенточки исчезли, кто-то еще сел, мне уже все равно

— "Вы что, — говорит, — отдаете себе отчет? " — это меня хмырь спрашивает — "А кто ж еще может все это доподлинно знать кто, где и за что — вся сумма информации? Только вы, ваша контора" Оторопел. "Зачем нам такая антисоветчина?" — "Какая ж, — говорю, — антисоветчина, когда правда, разве это клевета разве имя рек не сидит? Сидит Разве то-то и то-то не происходит в лагерях? Происходит А идея ваша, говорю, и дураку понятна думаете таким образом страх навести — страшное чтение, согласитесь?"

— Ты так действительно думаешь, — спрашиваю, — или ты Ваньку валял?

— Я не об этом, — говорит — Он мне целый час, а может три, читал мораль, страшал и еще много чего Мне надоело. Встал, подхожу к окну "Видите?" — спрашиваю. "А что, мол, смотреть, я каждый день, говорю, наляделся — Малая Лубянка" "Не туда смотрите, — говорю, — не Лубянка, а костел Меня в этом костеле почти семьдесят лет назад крестили в католичество, вас тогда никои и в помине не было, а вы меня за час или там за три часа хотите в свою веру перекрестить?"

— Да, — говорю, — крепко

— И вот ты подумай, — говорит, — был Петр в Риме или нет? Серьезный вопрос, между прочим Давай четвертинку

– Ты что, – говорю, – какая четвертинка? Жара, хватит Да и товарищу ничего не останется ..

Смотрит на меня гневно, черный клок на лице, чуть-чуть седины Красивый такой человек, может верно, цыган, ну какой он цыган – но красив!

– Что ж мы, – говорит, – близкому другу, больному товарищу – принесем жалкую четвертинку? Да я бы со стыда сгорел.

Достаю четвертинку, разливаю Выпили

– Хорошо, – говорит Домбровский, – ну а ты как считаешь – был или не был?

– Был, – говорю не совсем уверенно – Мне кажется, был А кто сомневается?

– Считаешь, был, ладно. Может, он и епископом был – первым в Риме?

– Так католическая доктрина утверждает, – говорю. – у них преемственность от Петра, потому и папы.

– В том и фокус! – кричит, – доктрина, преемственность, догмат! А на чем основана такая уверенность – что он там был?

– В Евангелии, – говорю, – у Иоанна.. пророчество Спасителя о смерти Петра когда ты будешь стар другой тебя препояшет и поведет куда ты не хочешь

– Но ведь ничего больше там не сказано, – говорит Домбровский, – куда поведет, кто распнет, может он, Петр, еще куда – не хотел. и при чем тут Рим?

– Еще кто-то из римских епископов, – говорю, – кажется, Климент, он умер в 100, что ли, году, мол знать Петра, он сказал в среде нашей умер Петр

– Доказательство, – хмыкает Домбровский, – ”В среде нашей” – в среде христиан, при чем здесь римляне?

– Еще сам Петр, – вспоминаю, – у него в послании сказано приветствует вас церковь в Вавилоне .. Этот стих так и толкуют Вавилон – это Рим.

– Убедительно, – говорит Домбровский, – обыкновенная метафора Тогда и Москва – Рим, и Париж, не говоря о Нью-Йорке Там сказано – Вавилон, это и есть Вавилон халдейский

– Погоди! – мне тоже стало интересно – Был такой епископ Паний, он утверждал, что в правлении императора

Клавдия был такой Симон-волхв, соблазнявший очень многих, а апостол Петр, прибывший в Рим, его посрамил. Вот тебе факт

— Факт! — смеется Домбровский — Ты, может, Папия читал?

— Нет, — говорю, — Папия я не читал, но

— В том-то и дело, что "но", — говорит Домбровский, — Папия никто не читал, его сочинения не сохранились, все на Евсевия ссылаются, Евсевий Папия своими словами пересказывает, причем оговаривает, что Папий записывал все подряд безо всякого разбора, а Евсевий жил в четвертом веке и сам все записал по слухам. Он такое наворотил, он и "Откровение" Иоанна Богослова считает подлогом, и апостол Павел у него был женатый, а насчет того, что Петр был в Риме, Евсевий ссылается на Филона — еврея из Александрии, который якобы его там видел, а у Филона в сочинениях ничего об этом нет. А насчет встречи Петра с Симон-волхвом Евсевий ссылается на Иустина-философа и святого Иринея — но ни у того, ни у другого об этом ни слова не сказано! Что ж они б умолчали об этом? Все перенутал. Да что там говорить — у них полно таких "фактов"!

У кого — у них? — спрашиваю

У католиков, — говорит, — им обязательно нужно, чтоб Петр был в Риме, что он был там первым епископом и передал преемственность папам — потому, мол, они и непогрешимы. Но его там не было. И мощей Петра нет в Риме. Да если б и были, их могли перевезти из того же Вавилона. Но их там нет — кто их видел? Никому католики не показывают. Да если ты внимательно прочитаешь Деяния, проследишь все путешествия Петра — станет ясно: он никогда не был в Риме — не мог там быть. Петр — апостол обрезанных, он только одного крестил необрезанного — сотника Корнилия — в отличие от Павла — апостола необрезанных. Павла и казнили в Риме — отрубили голову мечом, как римскому гражданину. А Петра как казнили — распяли вниз головой. Никогда римляне так не казнили, только на востоке, восточное дело. А евреев во времена Нерона почти не было в Риме — а те, что были, подвергались жутким гонениям — как бы они могли казнить Петра? А вот в Вавилоне халдейском

их было до четырех миллионов, очень просто было распять вниз головой, это тебе не Рим. Ты еще сошлись на сочинения Оригена и Тертуллиана, там сплошная путаница в тех местах, где о Петре, да они и знать не могли, жили спустя чуть не двести лет, а Климент никак не мог быть посвящен Петром, тот же Тертуллиан писал, что Климента посвятили в 90 году, а Петра казнили не позже 70, а может, и в 64.

— Стой, — говорю, у меня в глазах зарыбило от этой эрудиции, — ну и что тебе с этого, ты же сказал следовательно, что крещен в католичество, или он заставил тебя все-таки изменить вере?

— Крещен-то я в католичество, — говорит, — а прожил жизнь в России, а Россия страна православная, верно? Мы тут живем и нас тут закопают. А в Писании или все правда — или все вымысел, там и одной буквы не может быть неверной, так?

— Конечно, — говорю, — историческая критика исходит из атеизма

— Пусть откуда хотят — исходят, а совершать подлоги и подгонять истину под свою якобы непогрешимость — последнее дело. Я во Христа верю, а в непогрешимость пап — не верю. Непогрешимость! А Александр VI Борджиа — отец и любовник Лукреции? Мали тебе или еще добавить? Мне достаточно. Православию важно — был он там или нет, я Петра имею в виду?

Православию, думаю, это не важно, — говорю, — нам Евангелия достаточно. Там вся полнота.

— То-то, — говорит, — а им Евсевия подавай. Конечно, Евангелия достаточно, хотя еще и головой надо соображать.

— Эх, — говорю, — Юра, верить надо, а не соображать. Сердцем, а не головой. Ты вон у нас какой ученый, а на тебя еще десять и не таких найдется, разве в этом дело?

— Вот я с ними бы и поговорил, — смотрит на меня мрачно, — узнал бы достаточно им Евангелия или еще Евсевия надо. Пошли, что ли?

Вылезаем из-за стола.

— Оставь бутылки, — говорит, — уборщица подберет, все деньги у нас мелочь есть на метро?

Влезает в метро, его уже развезло, да и мне трудно-

вато. Хорошо, без пересадки. Он молчит, опять на чем-то сосредоточен. Преображенка, приехали.

— Пешком? — спрашиваю.

Не отвечает. Идем пешком, придерживаю его за рукав. Останавливается:

— А ты веришь? — спрашивает. — Во все и до конца — всегда?

— Бывает, накатывает. Сомневаюсь.

— Спасибо, — говорит, — если бы ты так не ответил, я бы тебе не поверил. Спасибо.

Идем дальше, опять останавливается.

— Ты посмотри на листья, — говорит, — ну есть ли хоть один, чтоб был похож на другой? Похож-то он, может, и похож, а все разные. Бесконечно разные. Банальность, а на этой банальности свет держится. Вот и мы с тобой...

Замолчал. Мы уже пришли. Забираемся в лифт, поднимаемся. Дверь в квартиру открыта, мужик чинит замок, ну да, Домбровский всегда ключи теряет. Клара в коридоре.

— Юра? В каком ты виде!

— В каком?.. Давай три рубля.

— Какие три рубля, ты утром взял деньги?

— Мы у врача были, — говорит, — ближний свет, на такси — И уже грозно. — Давай три рубля.

— Да у меня и денег нет — вот двадцать пять рублей.

— Давай я разменяю, — говорю

Она посмотрела на меня: конечно, едва ли такому можно было доверить деньги

— Нет, — говорит, — тебе я тоже не дам

Побежала вниз, Домбровский чем-то гремит на кухне. Вхожу. моет под краном большущую банку из-под огурцов, льет на пол.

— Сейчас мы с тобой. .

Возвращается Клара

— Вот тебе три рубля, но это возмутительно, Юра, — на меня она не глядит.

— Давай пять рублей, — говорит Домбровский.

— Что?! Нет, пять рублей я тебе не дам.

— Хорошо, — говорит Домбровский и прячет три рубля Пошли.

Оставляем Клару, проходим мимо мужика, Клара бежит следом:

— Что сказал врач?

— Все нормально, — говорю, — не нужно оперировать.

Забираемся в лифт.

— Чтоб мы товарища забыли, — бормочет Домбровский, — не бывать этого.

Время уже к четырем, народ повалил с работы, трамвай набит, держу банку, Домбровский где-то в самой толкотне, сверкает белым бинтом.

— Выходи! — кричит. — Приехали!

Вылезает — вон она, пристань. Автомат-пивная, просторное помещение, как сарай, краны в стенах, народу еще мало... Домбровский здесь свой, минута не прошла, дает мне горсть жетонов:

— Наливай, — говорит, — а я сейчас.

Подставляю банку под кран, пиво хлещет, пена пузырится...

— Ты что делаешь?!

Оборачиваюсь: стоит за моей спиной, в здоровой руке, как гроздь — четыре кружки с пивом. Ставит кружки на столик, забирает у меня банку. Лапа у него большущая, черная — в банку, в белоснежную пену, и выбрасывает на пол белые хлопья.

— Что ж мы больному товарищу пену потащим — чистый продукт должен быть. Только чистый.

Наливает полную банку чистого продукта. Выпиваем по кружке. Еще по одной. Мне много.

— Пошли, — говорит Домбровский, — тут недалеко

— А ты адрес знаешь? — спрашиваю, — я у него никогда не был.

Забираемся в трамвай, держу банку обеими руками, пиво плещет мне на грудь.

— Пустите с ребенком, — острит Домбровский.

Ворчат, но пропускают. Доехали.

— Вон дом, — кивает Домбровский, — добрались

Входим в подъезд. Лифт не работает

— Какой этаж? — спрашиваю.

— Седьмой.

Хватает у меня банку и через ступеньку, побежал.

— Подожди, Юра, — взмолился я на пятом этаже, — не могу.

— Ну почему вы никто не можете, что я могу? — говорит.

Седьмой этаж... Юра почему-то смущен, топчется на площадке.

— Я на номер не посмотрел, — говорит, — махнул не в тот подъезд. Нам номер 97.

Спускаемся в молчании. Ну, вниз всегда полегче.

Следующий подъезд, проверяю номер, правильно. И лифт работает. Поднимаемся. Номер 97. Звоню. Выходит мужчина. Что-то не то.

— Леня дома? — спрашиваю.

— Чего? — говорит. — Вам кого?

— Т. здесь живет?

Захлопывает перед носом дверь. Я оборачиваюсь на Домбровского.

— Номер спутал... говорит. — Нет, не может быть.

Спускаемся на один этаж. Звоню — женщина.

— Простите, пожалуйста, — говорю, — мы спутали номер, разрешите от вас позвонить по телефону...

Вид у нас, конечно, живописный. Дверь захлопывается.

— Да, — говорю, — угостили товарища.

Спускаемся еще на один этаж.

— Ты спрячься со своей банкой, — говорю, — а то люди пугаются.

На этот раз пустили, звоню: "Заплутались, какой у тебя номер?"

Выхожу на площадку, Домбровский спустился на полмарша, стоит у окна, плечи опущены.

— Эх ты, — говорю безжалостно, — отдавай банку. Он в соседнем доме.

Отдал. Молча спускаемся, молча идем к другому дому, входим... Лифт не работает!

— Давай мне, — говорит, — моя вина.

— Не отдам, — меня тоже заело. — Потопали.

На пятом этаже он останавливается и оборачивается

ко мне. Жарко, я уже весь мокрый от пива, он тоже устал, глаза грустные-грустные.

— А в Воскресение, — спрашивает, — в это ты веришь?

— Верую, — говорю.

— Прямо так, — спрашивает, — в Вознесение во плоти?

Я поднимаюсь на ступеньку и останавливаюсь рядом с ним.

— Верую, — говорю. — Это самое главное: Распятие и Воскресение. Христос в этом.

— Какой ты счастливый, — говорит. — А я не верю, не могу. — И выхватывает банку из моих рук.

Поднимаемся еще на два этажа. Я звоню в дверь. Открывает жена — "монашка". И сразу уходит. Я мешкаю в дверях, неловко как-то, Домбровский топаёт по коридору, ногой распахивает дверь в комнату. Пол у них натерт, блестит, в дверях он поскользывается, я слышу грохот...

Когда я вошел в комнату, Юра сидел на стуле, опустив голову, черный клок свесился почти до колен. Банка валялась у порога, пиво желтой волной катилось под кровать, всплыли тапочки.

Леня приподнялся на кровати, смеется:

— Перестань, Юра, ну что ты в самом деле — главное, что пришли!

Домбровский был неутешен.

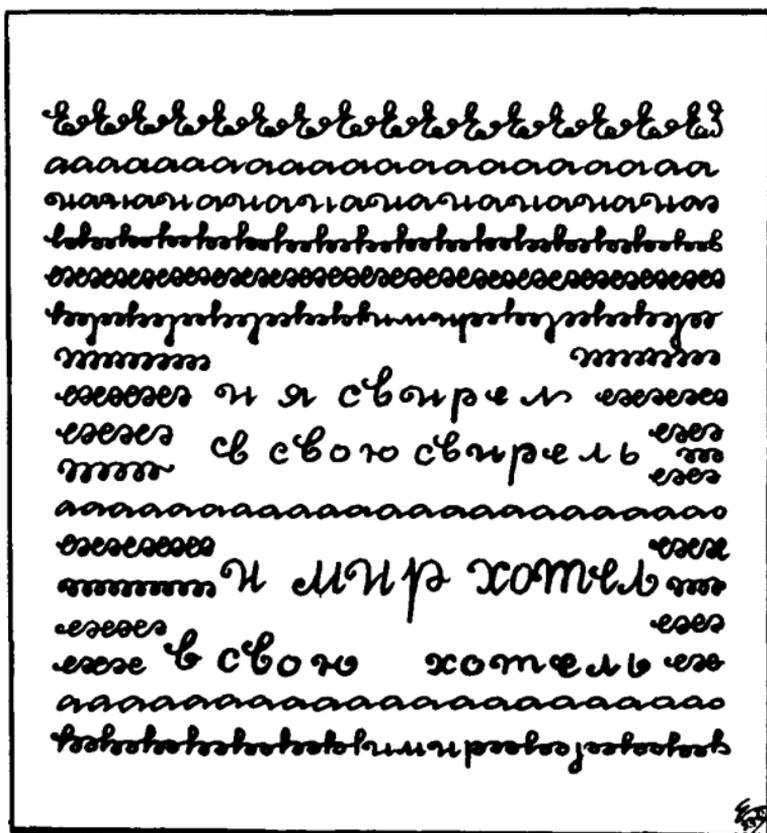
Он умер три недели спустя. Я позвонил накануне, он был очень грустный. "Живот болит". — "Давно?" — "Да уж дня два". — "Выпил?" — "В том и дело, что не пью". — "Съел что-нибудь?" — "Я тоже думаю, ничего серьезного, — говорит. — Приезжай".

Утром он встал, упал — и умер

Клара рассказывает: он проснулся утром и сказал, что только что видел Христа "Я не спал, — сказал Юра, — я Его видел" А потом встал — и умер.

Я приехал, когда его уже увезли в морг. Опоздал

1981, июнь



Елизавета Мнацаканова

ХЛЕБНИКОВ: ПРЕДЕЛ И БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ МУЗЫКА СЛОВА

Краткое слово о Неизмеримом

Так случилось, что не Хлебникову отдана роль провозвестника русской поэзии в широком мире, что соотечественники не признали за ним права представлять русское искусство, более того: окружили его творчество плотной стеной молчания как при жизни, так и после смерти.

Уже первые шаги молодого поэта прошли как бы в безвоздушном пространстве. Его не пожелали принять всерьез. Издевательские пассажи С. Маковского в "Аполлоне" ("Аполлон" 7, 1913) как нельзя лучше свидетельствуют об этом. Хлебникова почти не печатали — ни вначале, ни позднее, достаточно самого краткого обзора библиографии поэта, чтобы убедиться в этом. Но этот же обзор библиографии красноречиво повествует и о другом: за пределами одиночества поэта начинается его беспредельная жизнь. Я вернусь позже к этому тезису. Итак, творчество быть может самого прекрасного русского поэта было изолировано от читателя, и никакие усилия друзей и немногочисленных приверженцев не могли разрушить нагромождения предрассудков, предубеждений, глупых домыслов и досужей болтовни, заглушивших живой голос поэта. "Стена молчания" и ныне еще не разрушена. Но будем ли мы жалеть об этом? Не та ли это стена, какой в русских сказках укрыты блаженные сказочные страны несбыточных надежд и недостижимого счастья? Страны, куда может проникнуть лишь **ДОСТОЙНЕЙШИЙ**, лишь *удостоившиеся*? И кто же эти *достойные*? Мы помним сказки: достойный — это смелый; достойный — это благороднейший, это герой. Он отправляется в страну блаженства, чтобы обрести блаженство не только для себя, но чтобы осчастливить других. В страну блаженства попасть трудно. И герой запасается мужеством, терпением, силой. Но и этого недостаточно. Нужно еще и самоотречение. Этого требует **ЗНАНИЕ**. А знание тоже необходимо: чтобы попасть в сказочную страну блаженства, нужно **ЗНАТЬ** и **ПОНИМАТЬ** язык этой страны. Магическое знание неведомого — вот ключ, чтобы открывать ворота блаженных стран; магия заколдованных слов, язык вещей птиц сулит радость и неземное блаженство. Такова символика русской сказки, и эти аллегории скрывают за собой глубочайший смысл. Речь идет, несомненно, об искусстве, только о нем, и эти мудрые измышления народного гения еще и сегодня помогают нам понять слово того, кто был живым олицетворением народного гения, кто

был воплощением поэзии и смысла русской речи вообще. *Миф*, созданный народной фантазией об искусстве и, в первую очередь, о поэзии, оборачивается *былью* искусства — искусства и жизни. Таким мифом, такой *былью* предстает перед нами поэзия Хлебникова.

Парадоксальным образом подлинно национальный и подлинно народный дух этой поэзии остается глубоко сокрытым от читателя — соотечественника в большей степени, чем от читателя иноязычного. Мы находим объяснение этому в законах восприятия искусства, в психологии восприятия языка вообще. И с этими законами тесно связаны также другие — законы поэтической речи. Один из них, наблюдаемый еще античными авторами и так прекрасно сформулированный Аристотелем в его трактате о поэзии, глубоко затрагивает сущность работы поэта вообще (имеется в виду, разумеется, творчество подлинного поэта, а не эпигона, которому все проблемы даются легко, потому что давно решены другими) — этот важнейший закон, вскрывающий природу поэзии и связь поэзии с изначальными истоками человеческой природы — именно поэзии, а не литературщины, так часто выдаваемой за поэзию, — так вот, этот закон поэзии сформулирован у Аристотеля примерно так, что речь поэта в сфере его родного национального языка пребывает как бы речью иноязычной, предстает для соотечественника речью иностранца. То есть, иными словами, речь его остранена, абсурдивизирована. Мы поймем это лучше, если представим себе поэта как человека, что явился впервые в мир привычного как посланец мира непривычного, как носитель идей и ценностей иных, не тех, что господствуют в мире привычки. Словно бы пришелец с других планет или какой-нибудь слепец среди зрячих или зрячий среди слепцов, или некий фантастический мастер, — своим невидимым инструментом он измеряет невидимые ценности. И для этих ценностей у него своя мера, свои инструменты. Такова его первая задача. А вторая — назвать все это, придумать имена, *именовать*. "Immer zu benennen"

— так называется и начинается одно из лучших стихотворений Иоганнеса Бобровски, стихотворение, где поэт определяет жизненную задачу художника-творца, *именователя* мира, ожившей мысли, что осмысливает и определяет смысл и меру вещей, смысл человеческого бытия. А вот как сказал об этом другой поэт: "Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово "лилия", захватанное и изнасилованное. Поэтому я называю лилию "еуи" — первоначальная чистота восстановлена".

Таков один из законов жизни подлинного поэтического текста: он находит словесные символы, которые возвращают нас к самым далеким глубинным истокам данного национального языка, но при этом неминуемо уводят вдаль от языка общепринятого, бытового; ибо язык повседневности постепенно отходит от изначально чистой национальной речи, приобретая множество случайных наслоений, порою чуждых строю данного языка; поэт, разумеется, пользуется и элементами бытового, обиходного языка тоже — в зависимости от задачи. Но суть и новизна его речи в том и заключается, что все это как бы услышано им впервые и впервые осваивается. Каждое произносимое слово поэт переживает как бы впервые и всякий раз по-новому: он словно видит и слышит в первый раз, как это бывает с ребенком, — такова особенность поэтического "рабочего аппарата", его слуха, зрения, мысли. Эта особенность его интеллекта и позволяет ему делать работу именно такого рода, а не иного, именно *так* работать с языком, в отличие от других профессиональных литераторов. Никогда поэт не воспринимает свой родной язык как раз и навсегда неизменно данную реальность, неизменяемую действительность; никогда язык не принимает для поэта *готовой* формы: нет, поэт формирует все формы языка заново и по-своему, и в этом и заключается смысл его труда. Язык, слово для поэта — не посторонняя реальность мира, но порождение его

собственного воображения, мысли, зрения и слуха. Если же самое сказать метафорически, то слово для поэта — волшебная глина в руках волшебного мастера, теплый воск, всякий раз оживающий под пальцами по-новому. Вот почему по отношению к языку обиходному, бытовому, язык поэзии — иноязычная речь. Но это не единственная причина. Есть еще много других, из которых главная — неповторимость личности поэта, ее структура, всегда более или менее не зависящая от социальных стереотипов. Такова была личность Хлебникова, и уже одно это обрекало его на полное одиночество. Но об этом позднее. Если мы теперь вернемся к особенностям хлебниковского языка, то после всего сказанного будет ясно, что язык его — язык подлинной, а не эрзац- или китч-поэзии — требует особых критериев и для изучения, и для постижения, и, главное, для верной оценки. Да, для особого контингента читателей его речь — это речь иностранца; да, для России особого рода его поэзия зашифрована, чужда и невнятна, и здесь он и после смерти остался одинок — как был одинок при жизни в России больших и малых литераторов, политиков, издателей, вождей, царей, вельмож, лакеев и пр. *Не отсюда* было царствие его. Но его стихи стихии, но его строф дубровы, роцци и моря — это русское царство, которому нет предела. Возможно ли найти его на географической карте? На каких пространствах скитался поэт, когда русский ландшафт пел ему свои странные песни на странном, лишь ему понятном языке? Ведь это пение русского поля мы слышим в напевности этих строф, и его тишину, и его чистый, холодный тон. Так земля передает людям свое дыхание и принимает дуновение человеческих песен.



Трагедия жизни художника не кончается с его смертью; трагедия жизни Хлебникова продолжена в его творчестве. Но судьба его творчества светла. Что же касается его

жизни, то сам он отнюдь не считал ее трагической: он считал и исчислял ее вне границ времени, он жил в иных измерениях. Действительность, то есть *настоящее время*, было для него случайным отрезком, случайным скоплением единиц. Он придерживался собственной системы времени. Более того, он сформулировал собственный "закон времени", который реализовался через "натуральные единицы времени". "Натуральные единицы времени", по Хлебникову, для нашей планеты — земные сутки и земной год, но не часы, минуты и секунды. "Не будет глупых минут и секунд" — любил говорить он. Также его слова: "вообще если осмелились жить на земном шаре, то должны бы тщательно изучить законы жизни на нем. Но до сих пор ВРЕМЯ было какой-то Золушкой...", "свобода от времени и пространства сосуществование волимого и волящего..." Он мечтал о таком существовании, где "права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывает к рюмке..." Вот так вольно, свободно, космически широко ощущал Хлебников время, и если мы последуем за мыслью поэта и постараемся понять его идеи, то нам легко откроются также его речевые символы и язык его метафор, особенно своевольный и порою "герметичный". Но мы ведь знаем, что в образной системе любого большого поэта метафора — камень преткновения для исследователя и читателя. И это естественно; язык метафор — своеобразный код или шифр поэта, отразивший факты и особенности его биографии, его внутреннего (и внешнего) зрения, его характера, его умения или желания мыслить при помощи *категорий живописи*, короче — его *индивидуальность*. Язык метафор поэтов древности и по сей день не разгадан и не раскрыт полностью; так же метафоры Рильке или Тракля. Метафоры Хлебникова черпают свои ассоциации из самых разнообразных областей внутреннего мира поэта, связаны в такой же степени с его художественным бытием, как и с научными идеями; так же и словотворчество его.

Вот пейзаж времени:

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.
(1916?)

Так течет единица космического времени у Хлебникова, та самая "натуральная единица времени", что движет народы и эпохи в *гибком зеркале природы*. И, почувствовав ритм этого космического времени, мы уловим и дыхание хлебниковских надмирных и вневременных пейзажей, где мгновения жизни вселенной текут как в *синих рябинах вода*; там

Времяши-камышы
На озера береге,
Где время — камнем,
Где каменья — временем,
На берега озере
Времяши — камыши
На озера береге,
Священно шумящие.

В этом стихотворении мы встречаем одно из хлебниковских словообразований, существительное "времяши", употребляемое во множественном числе. Семантика этой синтагмы многообразна, но, разумеется, в первую очередь мы замечаем и ощущаем здесь образ времени, и оно дано как олицетворение и персонификация природы, вечной и вневременной природы, ибо мы знаем, что существительное КАМЫШ, одно из слагаемых этого словообразования и одновременно его параллель, именуется растение, растение долголетнее и древнее; еще мы знаем про это слово, что оно — устойчивый мифологический и поэтический образ,

чаще всего образ вечности, персонифицированный в виде вечно живущего у вечной воды певучего ствола; растение-певец, растение-легенда, побег вечной жизни природы и поэзии, их живое отражение, минутное и вечное: время — камнем, а камня — временем, вечный лик вечной жизни. От морфем "врем" мы имеем у Хлебникова еще одно существительное, равно связанное со временем и его отрицанием; и это существительное применяется обычно во множественном числе (и это тоже усиливает выразительность, подчеркивая множественность образа и его текучесть во времени); существительное это — ВРЕМИРИ. Как законченный образ-символ, прочно связанный со вполне точными и определенными ассоциациями, как устойчивая синтагма, слово это является уже в самых ранних стихах и также олицетворяет космическое начало в жизни искусства и мира, тот образ "надмирности" или "внемирности", о котором поэт постоянно грезил, в стихах и в прозе. Одно из первых появлений "времирей" на свет — стихотворения 1908 и 1909 гг. Некоторые строки из них я процитирую:

Смертирей беззыбких пляска
Времирей узывных сказка
Века дочка молодая,
Лета ночка золотая
и т.д.

(1908)

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, уле.сли
Стая легких времирей
и т.д.

(1908)

В ту пору, когда в вырей
Времирей умчалась стая,
Я времушком-камушком игрывало,
И времушек-камушек кинуло,
И времушко-камушко кануло,
И времыня крылья простерло.

Как видно из текстов, образ времирей очень емкий. Если попробовать описать его, то получим наслоения нескольких впечатлений: зрительного, слухового и, как параллель к ним, абстрагированных символов. Времири: образ легко пролетающего над жизнью людей внемирного времени, быть может, фантастические вещи легкокрылые птицы или летучие травы, — но в том-то и дело, что границы зрительного сильно размыты и неопределенны, и, в сущности, таковы особенности подлинно художественного образа. Он обращен ко многим нашим впечатлениям и апеллирует ко многим свойствам человеческого интеллекта одновременно. И описать такой образ невозможно: вспомним здесь слова другого замечательного поэта (Ханса Карла Артманна): "поэтический акт есть свершение, которое отвергает любую передачу из вторых рук, любое посредничество при помощи описаний, музыки или иных свидетельств".

И все-таки будем свидетельствовать: времири — крылатые существа; времири пролетают стаяй высоко над жизнью людей. Так пролетает время, *стая лет и зим*. Так текут годы и столетья. Параллельные этому образу "двойники": времушек-камушек; время-камень; и, наконец, образованное с помощью одной и той же частицы существительное, которое также явилось носителем важнейшего символа — смертири. "Смертири" — спутники "времирей" ("Смертирей беззыбких пляска / Времирей узывных сказка"), тень смерти незаметно сопровождает бег времирей. Но есть и третий "спутник":

Жарбог! Жарбог!
Я в тебя грезитвой мечу,
Дола славный стаедей,
О, взметни ты мне навстречу
Стаю вольных жарирей!

И так от стихотворения к стихотворению, листая страницу за страницей, вчитываясь в каждую строфу и вживаясь в каждый образ, мы понемногу складываем составные части картины души поэта, шаг за шагом входим в страну его поэзии. Страна эта обширна. Язык поэзии Хлебникова вырастает на сложной почве; в сущности, его научные идеи, лингвистические, математические, исторические и другие, — никак не ограничены от его поэзии. Вернее будет сказать, что все это — различные стороны его деятельности как поэта и художника. Математические идеи Хлебникова являются одним из выражений его художественного кредо, быть может, поэзией, выраженной знаками математики, а не языка. Его математические изыскания — тоже *послания поэта* из глубины Вселенной поэта. И они выражают те же идеи, те же символы и образы, что и стихи. Мы не найдем в истории мировой поэзии ни одного подобного примера. Язык поэзии как система знаковых символов расширен до предела и беспредельно широк. В сущности, открыта новая область художественных символов и новая знаковая система художественного творчества. Математические идеи Хлебникова, по существу, идеи художественные. А художественные образы поэта *поверены* математикой, они точны, их ассоциации глубоко обусловлены и имеют многослойный психологический подтекст. Я не случайно остановилась на образе времени: это — один из примеров такого взаимодействия науки и поэзии у Хлебникова. Его Закон времени выражен стихами в процитированных выше образцах. Его "натуральные единицы времени", его ритм космического времени оживает в ритме лета *легких времирей* или в стремительных взмахх крыла-

ми *вольных жарирей*, тоже сопровождающих бег *времирей* над миром; жарирей, зловещих прислужников древнего славянского Жарбога, могучего, временами жестокого (жестокого как сама природа) Ярилы-Солнца (Яростного Солнца). Так в этой поэзии оживают образы древнерусского фольклора, так встает в этих строфах древняя, новая, умершая, нерожденная страна, странная страна, но и *истинная*: в этих надмирных пейзажах живет, быть может, самая истинная, самая живая, вечная и вещая Россия.

Есть хлябей мечты.
Есть Русь хлябей домирного,
Хлябей довещной черты,
Домирного мира.

Странная страна *истинной* реальности диктовала поэту свой странный, свой истинный язык. Как я говорила, язык поэзии Хлебникова неотделим от языка его математики. Удивительным образом это всегда было теснейшими узлами связано в его сознании. Так, в своей статье "О стихах" он, отстаивая самостоятельный язык поэзии, сравнивает его с языком чисел и, как лучший пример тому, приводит случай из детства математика (Софьи Ковалевской). Числовые символы, утверждает поэт, даже непонятные и непонятые, имеют странную власть над нашим разумом, такую же, какую имеет и слово молитвы на непонятном языке, и слово, словесный символ поэзии, пусть еще неразгаданный и немой "... Софья Ковалевская обязана своим даром числа, как она сама указывает в своих воспоминаниях, тому, что стены ее детской спальни были оклеены своеобразными обоями – страницами из сочинений ее дяди по высшей алгебре. Надо сказать, что мир чисел наиболее заповедная область для женской половины человечества Ковалевская одна из немногих смертных, вошедшая в этот мир. Мог ли понимать семилетний ребенок знаки равенств, степени, скобки и все эти волшебные письмена итогов и

вычетов? Конечно, нет, но все-таки они оказали решающее влияние на ее жизненную судьбу — она сделалась под влиянием детского толчка загадочных обоев знаменитым числом.

Таким образом, чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества (...) Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы”.

Несомненно, все утверждения этой прекрасной теоремы истинны в самом высоком смысле слова: это — *речь высшего разума*. Но истины эти отнюдь не обязательны и не всеобщы. Далеко не каждый обязан понимать язык числовых символов или язык поэзии. Но важно сказать, что для поэта, и именно для поэта Хлебникова, язык числовых символов тесно связан с языком символов словесных. Более того: здесь можно говорить о теснейшем взаимопроникновении и взаимодействии. Логика поэтический речи Хлебникова — *речи высшего разума* — несомненно, впитала в себя элементы математической логики: уровень обобщений ее необыкновенно высок, не говоря уж об остальных компонентах. Но ведь символы математического мышления в своих глубинных слоях и самых далеких истоках неминуемо смыкаются с поэтической символикой, с логикой поэтического абстрагирования. Все эти различные свершения человеческого разума действуют параллельно и имеют, в сущности, одну цель и даже одно направление. Поэзия числовых символов и символы поэзии у Хлебникова — две стороны одного явления. Его творчество — уникальное в истории литературы, математики и человеческой мысли вообще явление; могло бы оно стать началом новой эры поэзии? Может ли быть дан ответ на этот вопрос? Несомненно лишь одно, а именно, что поэзия Хлебникова — единственное в своем роде явление, глубоко в себе самом заключенное, в высшей степени самостоятельное и независимое; оно не стоит в одном ряду с другими явлениями литературы и

науки ни своего времени, ни любого другого; оно не подобно им и не может и не должно быть им уподоблено.

Оценивая его или попросту стремясь понять, мы не должны пользоваться общепринятыми критериями, если таковые вообще существуют, и еще меньше критериями общепринятого. И не следует при этом думать, что такая самостоятельность этого творчества делает его недемократичным, герметичным, неконвергентным: оно может считаться таковым не больше или не меньше, чем творчество Бетховена, Кандинского, Микельанджело или Эйнштейна; оно в такой же степени — откровение; и оно в такой же степени располагает правом быть непонятым, быть верно понятым, быть понятым частично или полностью, быть непонятым полностью, — как и любая другая истина, которая не перестает быть истиной оттого, что нравится или не нравится данному потоку свидетелей, и которая не меняет своего естества, чтобы примениться к тем или иным обстоятельствам, то есть не мимикрична, то есть свободна и вполне независима. Таково положение поэзии Хлебникова в мире действительных ценностей человеческого разума.

Исключительность этого искусства заставляет нас с особой осторожностью рассматривать биографию поэта. Был он сыном своего времени, этот человек, мечтавший о полной свободе от времени и пространства и открывший свой особый закон времени? Был он связан со своим временем, этот человек, сказавший о своем времени такие слова: "мое настроение можно было бы назвать настроением "велей злобы" на тот мир и тот век, в который я заброшен по милости провидения"?

Ответом на эти вопросы может быть только исследование, столь же обширное, сколь серьезное. Немалая роль в таком исследовании должна быть отведена вопросам социологии искусства и психологии творчества вообще. В моем кратком очерке я, разумеется, не могу ни ставить, ни обсуждать подобных проблем. Еще менее ответить на вопрос, в какой мере принадлежал Хлебников к тому течению, ко-

торое принято называть *русским футуризмом*. Нет ничего проще, как обронить скоропалительное: "Хлебников, один из представителей русского футуризма, автор слова "будетляне", автор и соавтор манифестов русских футуристов" и т.д. Так же просто и противоположное заключение: "Несмотря на совместные манифесты, выставки и доклады, в которых он фигурировал так или иначе, несмотря на звучное, им созданное слово "будетляне", он не принадлежал к русскому футуризму, оставаясь независимым и одиноким". Оба утверждения несут в себе процент правды и неправды. Одно дело — быть уникальным и одиноким художником, сознавая свою уникальность и художественную обособленность; другое дело — одиночество — как фактор социальный. Социальное одиночество трудно переносилось Хлебниковым; несмотря ни на что, он искал человеческих и социальных контактов и часто охотно шел им навстречу. Сближение с русскими футуристами, многие из которых были и остались его друзьями, привлекало его по некоторым причинам, одна из которых была свобода и независимость их творчества, отсутствие рабского подчинения идеалам и традициям прошлого, поиски собственных путей и собственных форм выражения, а главное — надежды, надежды, которые, в общем-то, оставались трудно обозримыми и неясными символами. Но ведь именно таково свойство феномена "будущее" в сознании человека, и нет более человеческого символа в человеческой и человеческой душе, чем неясное предвидение гармонии, надежда на гармонию.

Так Хлебников был и связан со своими современниками, и свободен от них: очень уж широко текло его творчество для подобных связей. Он сам, если можно сказать, "тек по жизни", или, еще вернее, "против жизни", подобно полноводной реке смывая берега и соединяя границы. И так в определенный момент жизни он слился с "течением" футуристов, связанный с ними лишь несвязанностью своей...

Во всех манифестах футуристов он остался лишь глашатаем свободы, протестуя против всякого рода оков, защищая любимое слово от кодексов, "талмудов" и догм и оставаясь, в конце концов, один на один со словом, только с ним одним.

Если пожелать все-таки близкого знакомства с биографией поэта, то нет более точного и исчерпывающего документа, чем его стихи. Только в них можно найти свидетельства о событиях его жизни, переданные с добросовестностью очевидца, свидетеля и участника.

Обратимся к одному такому свидетельству; вот стихотворение, относящееся к последним годам жизни автора. Можно это стихотворение толковать как образец лирического послания:

Детуся!

Если устали глаза быть широкими,

Если согласны на имя "браток",

Я, синеокий, клянуся

Высоко держать вашей жизни цветок.

Я ведь такой же, сорвался я с облака,

Много мне зла причиняли

За то, что не этот,

Всегда нелюдим,

Везде нелюбим.

Хочешь, мы будем — брат и сестра,

Мы ведь в свободной земле свободные люди,

Сами законы творим,

Законов бояться не надо,

И лепим глину поступков.

Знаю, прекрасны вы, цветок голубого,

И мне хорошо и внезапно,

Когда говорите про Сочи

И нежные ширятся очи.

Я, сомневавшийся долго во многом,

Вдруг я поверил навеки:

Что предназначено там,
Тщетно рубить дровосеку!..
Много мы лишних слов избежим,
Просто я буду служить вам обедню,
Как волосатый священник с длинною гривой,
Пить голубые ручьи чистоты,
И страшных имен мы не будем бояться.
(13 сентября 1921)

Если снова сказать о взаимосплетении разных пластов художественного сознания поэта, то в этом тексте мы находим и мотивы его личной биографии, и основные творческие заповеди, и отпечаток его общих взглядов на мир, на человека и его судьбу. Лирическая жалоба сменяется мечтой о космической гармонии мира, мотив неприкаянности и одиночества заглушен радостным и чистым аккордом конца: *Пить голубые ручьи чистоты, / И страшных имен мы не будем бояться*. А до этого робко, светло и горячо звучит призыв к братству: "Хочешь, мы будем — брат и сестра?". И земная любовь дается здесь как продолжение любви всеобщей, пантеистического начала: "Просто я буду служить вам обедню..."

Трудно найти в мировой лирике более чистое и высокое песнопение во славу любви; трудно отыскать выражение более целомудренного и покойного чувства, — такого же прозрачного и нежного, как прозрачен и светел завершающий образ всей вещи: *голубые ручьи чистоты*. Как ручей чистоты струится и течет гармония этих строф, гармония света и добра. Призыв ко всеобщему братству, к согласному единению всего живого, будь то зверь, птица или растение, радостное и *целостное* приятие мира, какой-то светлый языческий пантеизм, проходит лейтмотивом через все творчество поэта, является одной из ведущих его идей. Любовь и любовная лирика его носит обычно отпечаток этого пантеизма, этого спокойного приятия круговорота жизни; и человек, по Хлебникову, частица этого круговорота, пре-

красен или ужасен в такой же степени, как зверь, птица или растение. Он сознавал себя прежде всего — частью вечного времени, и, пожалуй, братство было для него важнее любви.

Это излучение добра и радости тоже в немалой степени изолирует его творчество от современников, отделяет и отдаляет его от тех же футуристов, например; мы знаем, что деятельности их присущ, в известной степени, агрессивный характер. Тенденция к бунтарству часто принимает формы нетерпимости, эмоции неприятия (а порою и ненависти) выходят за пределы литературной борьбы и превращаются в пропаганду ненависти *вообще*, вражды *вообще*. Ничего этого не знает искусство Хлебникова, все это было глубоко чуждо строю его личности. *Стихия стихов* его светла; в своей доброте, в своем лучезарном мире поэт уединен и одинок, словно Бог света или гармонии. Этим своим лучезарным, ярко светящимся миром Хлебников плотнее всего отгорожен от мира реальных вещей, от того, что люди называют *действительностью и современностью*. Вот одна из главных причин вечного и непоправимого одиночества этого поэта. Его мир, населенный полуфантастическими существами, то ли из мифологии, то ли из фольклора славянского, то ли из древних преданий, — а на самом деле все они лишь разные и в разные моменты другие воплощения души поэта, — так вот, мир этот возвышается точно остров посреди океана российской жизни, и остров этот обнесен скалами и окутан непроницаемой стеной облаков. Но вот вы входите в этот мир, вступаете на колеблющуюся почву этого, скажем, заколдованного острова, и он встречает вас ослепительным сиянием красок.

А в следующий момент вы забываете все другое, потому что перед вами излучение могучей человеческой личности, сильнее разума; оно побеждает действительность. И вы радостно погружаетесь в мир света, где есть место и человеку, и зверю, и растению, где

... опустило солнце осеннее
Свой золотой и теплый посох
И золотые черепа растений
Застряли на утесах,
Реяли сонные тучи осени синей.
По небу ясному мечется иней:
Лишь золотистые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
"Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем".

Такова была форма одиночества поэта: Бог Поэзии, царствующий над всем живым, но отъединенный от общества людей, не верящий в их социальную правоту, вообще не признающий социального закона. Всемирное братство, союз всего сущего и живущего; но право на одинокую жизнь. На молчаливое одиночество среди толчеи повседневности: "СЛУХ УСТАЛ".

Но крайнее одиночество, доходя до своего предела, вырывается в беспредельность, за шкалой минусов следует бесконечность, за бесконечным одиночеством человеческой личности начинается бесконечный океан человеческих судеб, за пределами одной, единственной и обособленной судьбы открываются просторы всеобщей судьбы человечества; одинокая гибель поэта есть начало его бессмертия. После безвестной смерти Хлебникова, в 1922 году, Россия долго не вспоминала о нем: Россия царей и вождей, императоров и экспроприаторов, революционеров и контрреволюционеров, писателей и читателей, издателей и издательств, журналов и журналистов и т.д.

Но русские пространства; но *Русь зеленая в месяце Ай*; но *хвойные сестры и синий лужок* ("Уйдите, тени, мне скучно с вами") — никогда не расстанутся с мелодией его песен; вечно живущая *Русь хлябей века домирного* всякий год поминает своего сына веселыми раскатами майской грозы, пением бури и ветра. Таково бессмертие Хлебникова в России.

Другие формы приняло бессмертие поэта за пределами его родины. Выплеснутый из литературной действительности России (и к лучшему, и по праву), отвергнутый ею, он необъяснимым образом, — но это ведь эвфемизм всего лишь, на самом-то деле все это объяснимо, естественно и закономерно, — влился в поток литературы мировой.

То братство всего ЖИВОГО, живущего и жизненного, о котором он так мечтал в своей убогой реальности, тоже приняло иные формы: будем говорить о мировом братстве поэтов, о мировом содружестве художников, о *союзе изобретателей*, если еще раз воспользоваться словарем поэта, — и вот это бесприютное братство приняло своего бесприютного брата. Самым неожиданным, необыкновенным и чудесным образом начался и доныне продолжается в Европе "Хлебниковский Ренессанс". Его стихи переводятся на французский, итальянский, английский, немецкий, польский, сербский, чешский языки; выходят книги его стихов и о его стихах в Германии, Австрии, Италии, Франции; то же — на другом материке, в Америке... И думается, это лишь начало. Победное шествие поэзии Хлебникова еще впереди.

Особо скажу здесь о связи австрийских поэтов с наследием Хлебникова. Именно австрийская поэзия по своему духу более других близка поэзии Хлебникова. Еще Георг Тракль, современник, был как бы духовным братом русского поэта (но они не знали друг о друге). Удивительным образом линии их творчества смыкаются. Так же, как о хлебниковском "надмирном" времени, мы можем говорить об особых измерениях времени в мире стихов Тракля, о космических единицах времени его поэзии, хотя это и принимает в его творчестве спонтанные формы, хотя он далек был от идеи осмысливать теоретически, подобно Хлебникову, феномены своей поэзии. Тракль был *всего лишь поэтом*, — он высказался лишь в стихах Мир образов его, подобно хлебниковскому, помещается в каком-то мифологическом надмирном пространстве вне времени, вне вся-

ких социальных измерений. Мир этот также мифологичен по образам и явлениям своим. Как и хлебниковский, мир этот населен странными жителями небывалых эр. Но, разумеется, по-своему, в иной окраске.

Если говорить о красках, то следует тут же заметить, что мир Тракля однотонен, он не светится, подобно хлебниковскому, не переливается множеством тонов и красок; скорее, он сумрачен, суров, отнюдь не лучезарен, как у Хлебникова, отнюдь не радостен, отнюдь не светел. Но он так же беспредельно широк в своей пантеистической всеобщности, и он отделен от мира реальной бытовой повседневности такой же плотной стеной. Никакого общения с миром эмпирических ценностей и измерений, — начиная от единиц времени и кончая мерой жизни человеческой. Мир Тракля — такой же остров среди океана человеческой суеты, остров, на котором царит единый Бог — Бог Поэзии, чье беспредельное одиночество так же смыкается с беспредельным множеством судеб человечества.

Разделенные географической границей, оба поэта, невероятной игрой судьбы, оказались жертвами одной и той же катастрофы, были закинута в один и тот же котел мировой бойни; оба — каждый по-своему и на свой лад — нашли свой конец в объятии *Войны-Великанши*. Письма одного — по ЭТУ сторону границы, и письма другого — по ТУ сторону ТОЙ ЖЕ границы, — написаны почти одновременно, почти одними и теми же словами, — но с разных сторон и на разных языках.

Но действительно ли на разных? Или — разными звуками — на одном и том же?

Но как бы то ни было: эта переключка двух плененных орлов — именно такая метафора здесь представляется моему воображению, и надеюсь, что никто из читателей не подумает, что речь идет о плене — как категории военного словаря, — так вот, эта переключка пленников жизни, узников действительности, лишней раз напоминает нам не только о великом одиночестве поэтов, но и о великом

единстве этого древнего братства; о законе мирового равновесия, о пределе и беспредельности искусства.

Тема Хлебников—Трактль далеко не исчерпывается всем сказанным здесь. Но о ней — когда-нибудь после. Сейчас коротко прибавлю сюда несколько слов о судьбе хлебниковского СЛОВА в австрийской литературе. Современные поэты Австрии с этим *словом* связаны самыми глубокими духовными узами. Начнем с того, что авторы лучших переводов поэзии Хлебникова на немецкий язык — несомненно, поэты "Венской школы": Герхард Рюм, Ханс Карл Артманн. Именно представителям "Венской школы", с их поисками и открытиями в области языка, с их духовной обособленностью и герметизмом, говорит это тихое, в себя углубленное СЛОВО столь многое.

Можно даже говорить о своеобразной "хлебниковской традиции" в поэзии "Венской школы", — разумеется, своеобразно и понятой, и претворенной. Да и может ли быть иначе? Здесь особенности духовного развития народа, особенности языка, духовные традиции многовековой культуры диктуют свои законы.

Но при всем этом справедливость требует, чтобы здесь было сказано: прежде всего в работах именно этих поэтов продолжено дело Хлебникова. И это касается в равной степени его больших и малых идей. Если говорить о словотворчестве, то в работах австрийских поэтов идея эта расцвела и выросла на новой почве. Тут же лишний раз подчеркнем: разумеется, они шли и идут своим путем и сами пришли к идее *своего* словотворчества. Идеи Хлебникова, безусловно, придали им в свое время немало мужества и сообщили некую ценную творческую информацию.

Вернее же всего было бы сказать снова и снова о неотторжимой общности поисков, о духовной близости, о всеобщем братстве поэтов, об этом Великом Всемирном Братстве, в которое я свято и нерушимо верю, когда пишу вам все это без надежды, что мой голос будет когда-нибудь услышан.

Хлебников в своих поисках Слова шел от звука — к букве, от мыслящегося глубоко в сознании и подсознании слова — к графике, к букве, к знаку. Он первым среди русских поэтов заговорил об этой связи, о выражении поэзии при помощи графического изображения. Один из замечательных памятников его теоретических размышлений на эту тему — такие работы, как образцы краткой прозы "Наша основа", "О стихах", "О современной поэзии", "Утверждение азбуки"; также совместная с А. Крученых статья "Буква как таковая". Там обращают на себя внимание такие тезисы: "1. ... настроение изменяет почерк во время написания. 2. ... почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю, независимо от слов. Так же должно поставить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно рукою слепца, знаках".

Осязаемые, точно рукою слепца, знаки, — вот глубочайшая и важнейшая мысль, вот идея, зерно современной науки о поэзии, вот отправная точка для целой эпохи развития и расцвета поэтического искусства. Именно этот тезис стал поворотным пунктом искусства XX века, предопределив на долгие годы как путь современной поэзии, так и дороги изобразительных искусств. Идея *зримого, видимого*, также и *осязаемого, точно рукою слепца*, стихотворного текста, лежит в основе такого нового и важнейшего жанра современного искусства, как визуальная поэзия, или то, что в Европе носит название "MALERPOESIE" (немецк.).

Расцвет этого жанра в наши дни дал замечательные произведения европейской лирики. Достаточно назвать таких поэтов и графиков, как Герхард Рюм, или представителей так называемой берлинской школы, со знаменитым Кристофом Мекель, с такими удивительными и своеобразными артистами, как Роберт Вольфганг Шнелль, или Гюнтер Бруно Фукс, Иоахим Уллман и др. Истоки этого прекрасного искусства восходят — в Европе — к "Bildgedichte" Пауля Клее: его будем считать как бы антиподом

хлебниковского пути: *слово – изображение*. Клее шел от *изображения – к слову*. Замечательно, что тексты в его живописных работах постепенно стали играть самостоятельную роль. Так сходятся, расходятся, пересекаются, скрещиваются бесчисленные пути искусства, взаимно питая друг друга, обогащая и обогащаясь. Ни одна жизнеспособная и плодотворная идея не погибает в круговороте вечной жизни вечного искусства людей. Мы можем безмерно скорбеть над горькой судьбой одинокого поэта России. Но так ли горька эта судьба на самом деле? То, что он был непонят и чужд среди соотечественников, которые, если говорить по существу, не воспользовались ни единой крупичей из бесценной сокровищницы богатств его творческого гения, – такая уж это трагедия? И если – да, то для кого? Уж верно, не для него.

Важно другое – для него, для искусства, для его братьев по искусству, истинных братьев: законы искусства открытые и найденные одиноким гением одиночества, в одиночестве и однажды – эти законы и их истина, и их истинность поверяются тоже истиной. Неминуемо настает и приходит день, когда эти новооткрытые законы, когда открытия эти открывают кому-то глаза и душу. И так смыкается круг. И падают преграды. И исчезают пределы: пределы искусства, речи человеческой, обитаемых и обетованных земель. И так мы снова приходим к идее пантеизма, к идее беспредельности мира поэта, но уже по-другому, по-новому, с иных точек наблюдения. Мир этот беспределен не только для самого поэта, но и сам по себе, и он широко открыт и обращен к будущим временам.

Мир Хлебникова-поэта и мир Хлебникова-мыслителя и ученого не только широк. Мир этот также широко чело-вечен и светел.

Мы знаем, что поэт мечтал не только об упразднении границ между странами, но и о космогонии, и о пантеизме космогоническом. Не будем здесь излагать этих его идей во всех подробностях, отметим лишь, каким образом отразилось это на языке и словаре поэта.

В связи с этим я коснусь совсем кратко проблемы словотворчества Хлебникова — таково задание и таковы границы моего очерка: словотворчество будет затронуто здесь, главным образом, в связи с общими направлениями художественного бытия поэта.

Чтобы уяснить себе это, вернемся к началу моего очерка. Вспомним еще раз "Поэтику" Аристотеля и тезисы, связанные с "остранением" языка, — в частности, категории "иностранности", "поразительности", "необычайности" (ξενικον, "Поэтика", гл. XI, XXI, XXII)*. В какой мере речь поэта Хлебникова, поэта русской речи вообще, ИНОЯЗЫЧНА в сфере родного его языка? В чем заключается феномен этого ИНОЯЗЫЧИЯ? В какой мере ИНОЯЗЫЧИЕ это — ИНОЯЗЫЧНО? Не есть ли оно, по сути дела, лишь особое проявление всех скрытых потенциалов данного языка? Не есть ли оно в действительности — подлинное выявление всех подспудных сил и возможностей данного языка? Не проснулись ли каким-то образом в сознании художника древние изначальные силы языка родины?.. Исследователем этот феномен постигается лишь постепенно. Тот, кто желает изучить его, неминуемо должен как бы сызнова и в сжатые сроки повторить путь поэта, — возможно, лишь силою воображения: научного, художественного, любого. Можно было бы на примере какого-нибудь одного слова или звука или буквы проследить этот путь хотя бы частично, хотя бы на небольшом отрезке. Мы возьмем любимейший символ Хлебникова — звук, букву, знак и образ, — все это обозначается у поэта особым словесным знаком, номинацией "ЭЛЬ". Обширный смысл скрывался для автора в пении этой ЭЛЬ-музыки, под сво-

* В связи с проблемами творчества Хлебникова неминуемо возникает необходимость возврата к изучению "Поэтики" Аристотеля, основы основ идеального чистого искусства вообще. Симптоматично, что во времена Хлебникова и после в среде русского авангарда 20-х годов наблюдался некий "Ренессанс" аристотелевой эстетики. См. об этом фундаментальный труд О. Ханзен-Леве "Der russische Formalismus", Wien, 1978 г

дами ЭЛЬ-мироздания. Он шел к этим сводам не спеша, шаг за шагом добираясь до истоков языка, до глубинных начал не только русской речи, но и человеческой речи вообще. Поэт как бы тоже прошел, проследил некий путь: путь языка от звука — к слову; от звука — к букве; от буквы — к письму, к письменности. Прозорливость и сверхинтуиция художника и мыслителя помогли ему открыть истинную стихию русского языка, отыскать его глубочайшие истоки и исходы в руслах славянских наречий. При этом слово подвергается подлинно научному анализу, вскрывается его этимология, семантика и структура.

Древние и старые славянские наречия, старо-мордовское, угро-русское, русские диалекты — например, разновидности северных, — все привлекало его пристальное внимание, все подвергалось творческой переработке.* Словообразование Хлебникова — высокая ступень национальной русской культуры, одно из величайших ее достижений. Жаль, что этот клад на его родине погребен под горами равнодушия и напластования лжекультуры. Также хлебниковские идеи, относящиеся к языку и литературе, до сих пор не получили ни должного отклика, ни подлинной широкой заинтересованной аудитории на родине поэта. И эта область его труда пока обнесена глухой стеной равнодушия. Впрочем, в последнее время наблюдается некоторый интерес к его наследию в среде творческой молодежи; думается, это — начало.

Теперь обратимся к текстам поэта. Вот несколько его соображений или теоретических постулатов словообразования: "Словообразование — враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне около лесов и рек до сих пор творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит

* В сочинениях Хлебникова встречаются слова и словообразования, где использованы наречия костромское, вологодское, псковское, ярославское, вятское, тверское, иркутское; приволжских областей — астраханское, напр., западных — смоленское; часты украинские, татарские, персидские морфемы.

это право в жизнь писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов языка. Другой путь словотворчества — внутреннее склонение слов. Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения”.

Исключительно глубоки и пронизательны идеи поэта о зарождении языка и его эволюции: ”... язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки; согласные и гласные звуки были струнами этой игры в звуковые куклы. А если брать сочетания этих звуков в вольном порядке, например: бобеоби, или дыр бул щел, или манчь! манчь! чи брео зо! — то такие слова не принадлежат ни к одному языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но все-таки существующее”. ”... Каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя. Что же касается гласных звуков, то относительно О и Ы можно сказать, что стрелки их значений направлены в разные стороны, и они дают словам обратные значения (войти и выйти, *сой* — род и *сый* — особь, неделимое; *бо* — причина и *бы* — желание, свободная воля). Но гласные звуки менее изучены, чем согласные”.

Словотворчество никогда не было формальным моментом для Хлебникова; это был один из способов творческого существования поэта, никак не самоцель, никак не самостоятельное задание. Напротив, оно целиком подчинено было задачам выражения внутреннего мира поэта, являясь одновременно одной из сфер этого мира. В какой-то мере оно было и его мировоззрением, а частично — и религией. И могло ли быть иначе? Ведь с помощью слова выстраивал он мир своей поэзии, — удивительно ли, что этот особенный мир разбудил к жизни особенное слово? Слово, как таковое! Оно было для него и слугой, и повелителем,

а больше всего — самостоятельной стихией, которой он управлял и которая управляла им:

”Слово живет двойной жизнью.

То оно просто растет, как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идет на службу разуму, звук перестает быть ”всевеликим” и ”самодержавным”; звук становится именем и покорно исполняет приказы разума (...). То разум говорит ”слушаюсь” звуку, то чистый звук — чистому разуму.

Эта борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящая в слове, дает двойную жизнь языка: два круга летающих звезд.

В одном творчестве разум вращается кругом звука, описывая круговые пути, в другом — звук кругом разума.

Иногда солнце — звук, а земля — понятие; иногда солнце — понятие, а земля — звук.

Или страна лучистого разума, или страна лучистого звука”.

Так, пронизательно и глубоко, немногими и точными словами, вскрыл поэт основной закон своей работы, работы человека, призванного запечатлеть мир словом; работа эта многозначна и многосмысленна и протекает во многих и в разных плоскостях жизни, подчиняясь разным законам и подчиня себе разные законы, — потому что само слово живет двойной жизнью. Поэтический текст в равной мере управляет словом и управляем им. В таком понимании и таких формулировках закон слова впервые выражен одновременно как теоретический постулат и как поэтическая живая практика. Такой жизнью, двойной, живут слова стихов Хлебникова, его собственного, им созданного языка, языка его жизни, его мира. Слово это — в такой же мере создание поэта, в какой создано оно законами его родного языка, оно само — эти законы. Как я уже говорила, поэт в своем развитии повторил путь языка; творя язык, он при-

шел к самым глубинным корням возникновения слова — как звукового символа, как символа мысли, абстракции; и слова — как знака. Шаг за шагом он открывает происхождение звуков, букв и понятий и лишь на основе исторически сложившихся закономерностей языка дает волю своей гениальной интуиции художника творить новые символы, новые понятия, новые знаки.

Так поэт создавал и исследовал свой язык, и при этом создавалась новая эпоха искусства слова. Язык этот никогда не был для Хлебникова отвлеченным символом. Нет, это было одно из проявлений его мировоззрения, его символ веры — человека и художника. В основе же мировоззрения Хлебникова лежит этос чувства любви, как я упоминала выше, чувства всемирного братства. И язык понимается поэтому как фактор моральный, нравственный, и не просто нравственный, а как выражение и олицетворение *светлой* нравственности, *световой*, как он выражался, имея в виду *свет* не только как отвлеченное понятие, но и как конкретное физическое явление. По Хлебникову, человек — порождение стихии света, светового потока, ЛУЧА. Человек, говорит Хлебников, понят как "световое явление", его природа — часть "световой области". Поэтому не только "я" человека, но и "я" языка совпадает с жизнью света. В словах "рассказана молниеносно световая природа человека, а, следовательно, нравственного мира... Начало "греха" лежит на черном и горячем конце света, а начало добра — на светлом и холодном... Существует большая молния человеческого рода — и молния земного шара. Удивительно ли, что народы, даже не зная друг друга, связаны один с другим точными законами".

Эта цепь рассуждений, подобная изложению стройной геометрической теоремы, если и не объясняет нам закона о происхождении человеческого рода, объясняет и раскрывает нечто, быть может, не менее важное, а именно: созревание закона нравственности в душе поэта; законы нравственности, понятые как единственно реальный закон твор-

чества. Многим читателям приведенные рассуждения Хлебникова казались утопичными, и, возможно, это так и есть. Но только утопия эта содержит в себе истину. Рассуждения эти, прекрасные сами по себе, как какой-нибудь рисунок гениального графика, заключают в себе несколько не менее прекрасных истин, и главная из них — истина добра и света, живущая в душе художника, и другая — его непоколебимая вера в людей и в светлое начало природы человека (“световая природа человека”). Но ярче всего здесь светится *световая природа души самого поэта*, создавшего, быть может, самую прекрасную теорию творчества и теорию языка, непоколебимая основа которой — законы нравственности:

“... Язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его. Иногда он может служить для решения отвлеченных задач. Так попытаемся с помощью языка измерить длину волн добра и зла. Мудростью языка давно уж вскрыта световая (здесь — в смысле “светлая” — Е.М.) природа мира. Его “я” совпадает с жизнью света.

Мудрость языка шла впереди мудрости наук”.

Это светлое повествование о языке заканчивается печальным вздохом:

Когда-то языки объединяли людей...

И вот о таком светлом и святом единении людей рассказывает Слово о Эль, — ничего, что здесь речь идет всего-навсего о знаке кириллицы, о звуке или о *единице языка*; мы увидим, что для поэта нет отвлеченных явлений речи и каждая частица ее оживает под его пристальным и любовным взглядом:

“Возьмем слово лебедь. Это звукопись. Длинная шея лебеда напоминает путь падающей воды; широкие крылья — воду, разливающуюся по озеру. Глагол лить дает лебу — проливаемую воду, а конец слова — ядь напоминает черный и чернядь (название одного вида уток). Стало быть, мы можем построить — небеди, небяжеский.

”В этот вечер за лесом летела чета небедей”...”

”Л начинает имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси. (...) Поэтому не следует ли определить: *Л* есть переход точек из одномерного тела в двумерное. Не отсюда ли слово ЛЮБИТЬ. В нем сознание одного человека падало по одному измерению — одномерный мир. Но приходит второе сознание, и создается двумерный мир двух людей... И вот глубокий смысл слова ЛЮДИ: путь одного человека должен быть направлен под прямым углом к наибольшей площади другого человека, и, вонзившись как копьё в латы, передать свой толчок всему пути другого человека”.

Так мы видим, что Л — ЭЛЬ для поэта прежде всего и больше всего: ЛЮДИ и ЛЮБОВЬ. Эти два слова он выводил от старославянских корней ”людь” и ”лювь”. Он не указывал при этом на параллелизм и родство этих корней с латинским *libet*, старогерманским *lib* и готским *liudan* (”расти”), от которых в современном немецком языке мы имеем *Liebe*. Но несомненно этот пример служил бы еще одним подтверждением его мысли о том, что когда-то языки объединяли людей. Так, в прозе как бы научного очерка, а на самом деле — подлинного законченного стихотворения в прозе, начинается у Хлебникова его ”Поэма о Эль”, — чтобы с годами отлиться и в форму поэмы стихотворной. Я отсылаю читателя к тексту этой поэмы, которая озаглавлена ”Слово о Эль” и в новом метафорическом виде выражает, развивает идеи приведенных прозаических отрывков. Завершение этой поэмы о человеке и его вселенной мы могли бы назвать гимном во славу человека и его вселенной, если бы не противоречили высокопарному слову ”гимн” скромная тишина интонации поэта, детски-искренняя чистота и целомудренность его речи:

Он одинок, он выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,

Прямостоячее двуногое,
Тебя назвали через люд.

.....
Когда с людьми мы, люди, легки, —
Любим. Любимые — людимы.
Эль — это легкие Лели.

.....
В любви сокрыт приказ
Любить людей,
И люди те, кого любить должны мы*.



В тесной связи с феноменом "словотворчество" следует рассматривать феномен хлебниковской рифмы — вернее сказать, "рифмотворчество". Здесь могу сказать об этом по необходимости коротко: коротко — потому что *рифмотворчество* Хлебникова — это целая эпоха жизни слова в русском литературном языке, и объять эту эпоху здесь, в кратком очерке — невозможно. Скажу лишь главное: рифма для этого поэта — выявление, высвобождение тайной музыки СЛОВА и музыки СОЧЕТАЕМЫХ СЛОВ. Никогда рифмы Хлебникова не ограничивались внешними формулами, никогда не было это "подбиранием по слуху" подходящих окончаний, что-нибудь вроде:

сад — оград
молодой — водой
лип — скрип
шагов — врагов

то есть такое формальное рифмоплетство, где ухо поэта смиряется (или попросту не различает диссонанса) с насильственным соединением несоединяемых созвучий, с

* Все цитаты в настоящей работе приводятся по изданию: V.V. Chlebnikov *Gesammelte Werke*, Wilhelm Fink Verlag, Munchen, 1972, Bd. III-IV.

формальным сочетанием несочетаемых слов и словесных символов, где СЛОВО служит только для информации, как в самых примитивных образцах газетно-фельетонной лексики; ибо для поэта, для стихослагателя, а не для стихоплета, ясно, что САД — ОГРАД — насильственное сочетание (в слове ОГРАД доминирует созвучие -ГР с опорой на звук -аа; следовательно, рифма должна развивать ЭТУ музыку; то же самое во второй приведенной рифме ШАГОВ — ВРАГОВ: в слове ВРАГОВ наиболее заметную для слуха часть составляет созвучие -ВР с опорой на -а и -оо; ЭТО составляет музыку слова, а отнюдь не безликое генитивное окончание -ов; да и что может быть примитивнее и беспомощнее в стихосложении, чем рифмирование падежных окончаний? уж куда богаче были бы глагольные рифмы!). Но не будем говорить о плохих рифмах. Мне хочется говорить здесь о другом: о "тайной музыке" хлебниковской рифмы. Так вот, рифмы Хлебникова рождаются не от формального тождества ПАДЕЖНЫХ, РОДОВЫХ и вообще МЕЖДУ СОБОЙ ПОДОБНЫХ пар-окончаний (что я считаю позором для поэта, и что давно уже не встретишь в европейской лирике, разве что в виде курьеза), но являются *результатом нагнетания внутренней энергии слова*. Рифмы эти — сложнейшая звуковая полифония; никогда не превращаются они в плоское и плоскостное ПОВТОРЕНИЕ — СПАРИВАНИЕ окончаний парных или перекрестных строк.

Вот характерный для Хлебникова период:

И, простодушный, медвежьей лапой
Лапай и цапай
Девичью тень.
Ты гори, пень!
Эй, гори пень!
Не зевай
В месяце Ай!
Хохота пай
Дан тебе, мяса бревну.
Ну?

Ясно, слышимо, зримо, что здесь, в этом стихотворении, где первая строка такова:

Русь зеленая в месяце Ай!

музыку составляет чередование закрытых гласных -Е, -Е, -У – с открытой и продленной: -АЙ. Так именно "запрограммирована" приведенная первая строка. Далее на читателя (слушателя) со всех сторон надвигаются стоустые -А и -АЙ: каждое новое появляющееся в каждой строке слово раскрывает этот созвук особым образом. Другие гласные мы воспринимаем как естественную модуляцию, временный уход от основной тональности – поначалу господствует тональность открытых звуков и лишь в конце эта тональная краска сменяется контрастной: весь период завершается уходом в сторону закрытых тонов, музыкой -Е и -У: в конце – поставлена "точка над -У": БРЕВНУ – НУ. Такая звуковая модуляция составляет основу хлебниковской системы рифм. Нужно ли повторять лишний раз, что рифма здесь не есть случайная подобранная ПАРА ОКОНЧАНИЙ; что она – компонент речи, вытекающий из материи слова. Важно здесь же указать также на тесную связь с ритмом и метром. В совокупности с ритмом рифма Хлебникова становится одним из моментов разоблачения тайны тайн бытия слова.

И, наконец, последняя ступень: вся эта СЛЫШИМАЯ музыка в известный момент ТРАНСПОНИРУЕТСЯ, ПРЕОБРАЖАЕТСЯ, превращается. Как уже неоднократно указывалось, слово проходит путь – путь к графике. Слышимое транспонируется в ВИДИМОЕ. Неминуемо наступает момент, когда на первый план выдвигается еще одно измерение слова, а именно, ГРАФИКА его. Начинается вторая (или – для поэта – первая?) жизнь слова. Раскрывается его вторая (первая?) натура: начертание У поэта истинного эти две природы слова постоянно борются между собой; строки живут в непрерывном противоборстве – равновесии этих двух начал. Часто слова преследуют сознание пишущего еще и третьим своим измерением, третьим аспек-

том: звук + графика рождает где-то глубоко в подсознании зрительный образ, картину каждого слова.

Это феномен, истоки которого лежат в трудно прощупываемых глубинах подсознания, могу описать и выявить лишь на основании собственного субъективного опыта. Думаю, однако, что в той или иной мере он присущ большинству людей, работающих со словом. На эту тему мне пришлось однажды беседовать с лингвистами, занятыми проблемами этимологии и вообще — вопросами происхождения слова, его психологическими истоками. Думается, однако, что тайна рождения слова лежит где-то по ту сторону границы рационально объяснимых явлений — то есть, не частично, но **ВПОЛНЕ** рационально объяснимых. Так вот, на тему об образе — зрительном — слова, как он внезапно зажигается в сознании человека: на основании единичного субъективного опыта. Представим себе человека, который со времен раннего своего детства преследуем таким явлением: каждое услышанное им слово (а ребенок 2-4 лет оперирует, главным образом, со словом слышимым, так как читать не умеет) предстает перед ним сначала в звуковом, а затем в зримом и зрительном аспекте. Видимый этот, оптический образ, неясен, туманен. Это — какое-то трудноуловимое туманное изображение какого-то **ПРЕ**-образа, каких-то **ПРА**-явлений, где перед внутренним взором рисуется, выдвигаясь из тумана, изначальной тьмы, неясный силуэт, очертание живых существ, людей или животных; порою звук слова пробуждает **ТОЛЬКО** жест — он мелькает, сопровождая ускользящее мгновенно, только что услышанное созвучие слова или группы слов. Все это возникает в сознании спонтанно, и трудно различимо и также трудно дефинируется; но интересно то, что, при всей туманной неясности, при всей "затушеванности", образ этот прочен, чтобы не сказать — вечен: однажды явившись вместе со словом, он с ним уже неразлучен на все времена. Он делается составной частью слова, его видимым, оптическим, выражением. Описываемый мною опыт, вероятно,

не единичен; однако трудно представить себе, что способность одной, как говорят, отдельно взятой, личности приобрела значение всеобщего явления, повлияла бы на наше понимание феномена слова, изменило бы наши представления о нем. Но разве не влияли на представления людей о том или ином предмете различные догадки ученых, гипотезы, все то, что люди неученые обозначают при помощи существительного "открытие"? Приходится признать, что мы, люди, еще не все знаем о нашей способности речи и очень мало знаем о свойствах человеческого слова — произнесенного, написанного, мыслимого. Еще меньше знаем мы о потенциальных возможностях слова — как отдельной единицы речи, так и способности человека мыслить словесными символами.

Описанный мною как опыт единичного случая феномен, однако, не только единичен; он также и не случайно возникший каприз воображения какой-нибудь "отдельно взятой личности". Подобно тому, как язык — не что иное, как достояние (или исторически возникшая общая собственность) сообщества особей, именуемых "людь", так же и способность наша творить язык или представлять себе символы языка в своем воображении, есть не что иное, как одна из человеческих способностей, не что иное, как еще одно проявление всеобщих и единых свойств человеческой природы. Доказательство: и у Хлебникова можно встретить наблюдения над словесными символами, которые, несомненно, опираются на эту способность нашего мышления — живописать портреты каждого услышанного, познанного, ьстреченного и прочувствованного словесного звука. Цитирую из отрывка "Художники мира":

Мне *Вэ* кажется в виде круга и точки в нем.

Ха в виде сочетания двух черт и точки.

Зэ вроде упавшего *К*: зеркало и луч.

Л круговая площадь и черта оси.

Ч в виде чаши.

ЭС пучок прямых.

(13.IV. 1919)

К этому отрывку, где высказана одна из лучших хлебниковских идей о языке, слове, звуке и букве, я еще вернусь. Сейчас обратимся вновь к проблеме рифмы — это небольшое отступление должно, в сущности, подтвердить ту идею, что рифму Хлебникова ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от хлебниковского слова, словотворчества, теории знака, что хлебниковская наука и художественная практика составляют неразрывное целое.

Приведенный мною ранее отрывок "Русь зеленая...", эта, как показано было мною, симфония открытых гласных русского языка, если мы слушаем эти строфы, одновременно являет собой и пример совершенства графики стихогворной строки. Так, обратим внимание на ритм, который выстраивает перед нашим глазом буквы этих распетых звуков, именно, продленное *-а* и контрастирующее прикрытое *-е*. Эти распеваемые гласные, выстраиваясь в известном порядке на бумаге, образуют также зрительную гармонию, гармонию графическую, и это также является составной частью эстетического воздействия стиха. Например, строка

Русь зеленая в месяце Ай!

или:

Лапай и цапай

Девичью тень

дают, помимо всего, красивое графически чередование одинаковых букв, красивый графический ряд.

аа аа

Стихосложение Хлебникова подчинено законам собственной логики. Мы на найдем здесь ни "готовых", устоявшихся форм (а в скобках скажу, что в истинной, живой поэзии нет и не может быть таких готовых форм), ни имманентных закономерностей, ни всеобщих формул. Если говорить о логике закономерностей этой поэзии, то уместнее всего вспомнить логику математических законов. Но мы говорили о рифме. Рифма Хлебникова, было сказано,

всецело диктуется внутренними силами слова и никогда не подчинена внешней композиции стиха. Чаще всего рифма спонтанно рождается на стыковых моментах формы.

Еще чаще она появляется как результат целой системы параллельных звучаний. Но бесполезно и бесцельно определять эти явления вне связи их с целым. Еще раз повторю: рифма — пение звуков и тайная музыка стиха, ставшая явью. Корни этого явления, как пыталась я показать, уходят глубоко в сознание и подсознание наше. Определять рифму как один из приемов стихосложения или один из законов — безнадежное занятие. Напрасно будем мы в этом случае обращаться к науке. Именно явления такого рода убеждают нас в том, что искусство непознаваемо. Что рифмоплетство, спаривание эквивалентных окончаний — а таких окончаний есть великое множество в каждом языке и они сами по себе не являются рифмами (напр., параллельные падежные окончания или окончания спрягаемых глаголов и т.д. — будем называть эти совпадения — парами окончаний) — не имеет ничего общего со стихотворчеством, так же лучше всего наблюдается при анализе рифм и ассонансов. Но такой анализ неминуемо останавливается всякий раз у некоей заветной черты, за которой начинается молчание и тьма. Тайна искусства уходит далеко (или высоко?) к началу, к истокам природы и человеческой природы. Раскрыть эту тайну невозможно до тех пор, пока продолжается жизнь человечества. Да это никому и не нужно. Если время от времени появляется такой безумный гений, вроде Хлебникова, который бросает в мир пригоршнями искры своих гениальных откровений, — никто не хочет слушать его, никто не принимает его пророчества всерьез. Люди хотят жить в удобном уюте своих незамысловатых верований и представлений. "Рифма, — вещает нам литературоведение, — композиционно-звуковой повтор преимущественно в конце двух или нескольких стихов, чаще всего — начиная с последнего ударного слога в рифмуемых словах". Если бы все это было

так просто, как полагает автор такого определения*, то стихи отмеривались бы метрами, вроде ситца на московских базарах. Оно, впрочем, там к тому и идет. Километры рифмованной чепухи, банальной, как и всякая вообще чепуха... Но мы говорили о рифме. Так вот, если всерьез говорить о рифме, то неминуемо наступает момент, когда делается ясно, что тайна сия велика есть. И напрасно люди пытаются время от времени кощунственно приблизиться к этой тайне. Бессмысленное кощунство, как и всякое кощунство. Рифма, взятая вне стиха, мертва. Всякие словари рифм — *жалкая бессмыслица*, подспорье для шарлатанской деятельности лжепоэтов. Так же мертвы и разговоры о рифме вне разговора о живой ткани стиха. Меня в свое время (более десятка лет назад) очень удивило одно письмо — ответ Цветаевой на вопрос Шарля Вильдрака "Для чего рифмует она свои стихи?" Удивило меня, прежде всего, что поэт вообще берется отвечать на бессмысленный вопрос. А затем и ответ. Оказывается, рифма — некий внешний элемент в стихе, нечто вроде химического реактива или механической подпорки под фундамент текстовой конструкции. Я отсылаю читателя к этому интересному письму — оно было опубликовано в советском журнале "Новый мир" (1969, № 4) — и процитирую сходное высказывание Маяковского на эту же тему и почти этими же словами: "Рифма возвращает нас к предыдущей строке, заставляет вспоминать ее, заставляет все строки, оформляющие мысль, держаться вместе (...) Рифма связывает все строки, поэтому материал ее должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки". Конечно, можно и так думать о рифме и о стихе и соответственно писать. Так мы получаем поэзию лозунгов и газетно-журнальной публицистики; так же любовных посланий и альбомных стихотворений, жестоких романсов; и многие другие виды субкультуры или сублитературы. (Это, разумеется, никак

* А Квятковский в своем "Поэтическом словаре" Есть и множество других

не относится к дикой, как прекрасный цветок, и прекрасной, как дикий цветок, поэзии Цветаевой).

Между тем, основу стиха в поэзии — не хочу сказать "истинной", но назовем ее так, как говорит о ней литературоведение немецкого языка, поэзией "большого стиля" ("des grossen Stil") — составляет слово, только лишь слово и ничего больше. Слово рождает вокруг себя атмосферу, ауру, силовое поле; и рифма приходит лишь как результат выявления внутренних сил, заложенных в слове, его внутренней энергии. Думая об этом феномене, мы непременно должны отличать поэзию "большого стиля" от продукции субкультуры. В поэзии слово КАК ОНО, жизнь его, его гармония, его музыка производят движение и дыхание ФОРМЫ; стихотворение ФОРМУЕТСЯ дыханием слова. Подлинно поэтическое высказывание — не что иное, как рождение гармонии. В этом высказывании все взаимосвязано, и поэту нет нужды рифмой или чем-то другим поддерживать конструкцию: она рождена цельным организмом, является на свет уже готовой гармонией*. Но стихотворение может быть также и случайным явлением, одним из порождений вторичной культуры, фельетонно-журнальной литературы, или, наконец, неким лирическим высказыванием подпавшей под влияние тех или иных эмоций личности. Такое произведение не обязательно является продуктом высокой культуры; мы не обнаруживаем здесь ни следов подлинного мастерства, ни высокой степени искусства работы со словом. Лирическое высказывание обычно использует слово лишь как информативный феномен. Самодовлеющая ценность слова остается нераскрытой, слово как таковое в подобных образцах обесценено полностью. Внутренняя основа лирики этого рода — реализация природной и необходимой человеческой потребности высказаться, своего рода информация чувства — и ничего больше. Та-

* *Готовой гармонией* — да. Но редко — готовым ТЕКСТОМ. Над текстом, обычно, совершается кропотливая работа, со множеством правок, черновиков и т. д.

кое высказывание, вероятно, ценное как документ, отражение человеческого, отражение личности, — еще далеко отстоит от искусства; ценности художественные не связаны с ценностями информативно-документационного ряда. Журналистика, публицистика, несомненно, очень важная отрасль общественной деятельности людей. *Но не следует путать ее с литературой, а главное, не следует подменять ею литературу.* Стихи, поэзия большого стиля, также являются информацией для людей. Но информация искусства, информация художественная, апеллирует к другим сторонам нашей высшей нервной деятельности и также является продуктом других областей нашего интеллекта (боюсь произнести здесь такие слова, как "талант", "прозорливость", "интуиция", — но все же со всей скромностью шепчу их еле слышно); не так уж много нужно таланта, чтобы настроить рифмованный всплеск "чюфства". И совсем уж мало умения. Два-три гентивных окончания на концах третьей и пятой, "оформляющие мысль", две-три "крепкие рифмы", сработанные в поте лица на стыке второй и четвертой — и шедевр готов... Рифмованный шедевр...

Но рифма!.. Ах, рифма — кто она?.. Будем ли мы разгадывать эту великую тайну природы Земли и людской природы? Будем ли подыскивать приличные случаю объяснения для такого колдовства слова — над нами, и нашего — над словом? ... Потому что рифма — как бы вам сказать? — потому что рифма — это нечто глубоко таинственное, необъяснимое, не поддающееся СЛОВЕСНОМУ описанию... Не верьте словарям рифм: там нет ни единой рифмующейся рифмы. *Рифма: это менее всего — параллелизм окончаний.*

Рифма: в подлинном стихе рифма рождается изнутри, выталкиваемая внутренней, потайной энергией слова, и момент рождения рифмы вовсе не обязательно должен и может совпасть с моментом окончания строки.

Потому что рифма — нечто глубоко тайное; потому

что рифма: сокровенное, порою неясное Нечто*; непостижимо — как и откуда возникающая способность слова и способность наша; возможность слова и возможность наша; могущество наше и могущество слова... И можно ли это божественное свойство языка, эту колдовскую силу, это могущество подвластной нам стихии низводить до уровня трехкопеечного рукомесла, рифмоплетствуя направо и налево, забалтывая родовые и родственные окончания, сопрягая "стране — мне", "его — моего", "ковчегу — ночлега" "молодой — водой" и т.д., облекая пустоту — дешевыми лохмотьями напрокат взятой позапрошлогодней моды?..

... Нет, рифма не есть автоматическое спаривание окончаний; рифму рождает не окончание предыдущих строк, но климат их, и ранее — строфы, и далее: периода, четверостишия, всей ткани стиха в целом; созвучие слов, близких по самым различным признакам и по музыке своей. Вот что такое, в сущности, рифма: звуковая насыщенность ткани стиха, когда слова, накаляясь, вызывают друг к другу, рождая ответную музыку; рифма: ответный отклик слова на слово, ответный плач, крик, смех, стон — слова живут, раскрываются, молчат или поют, уже вне зависимости от воли творца, движимые своей внутренней энергией, той эмоциональной волной, той необъяснимой внутренней мощью, что направляет изнутри весь лирический поток поэтического высказывания в его гармонически завершенном бытии.

cleeleee

Один из примеров рифмованных периодов у Хлебникова:

Точит деревья и тихо течет
В синих рябинах вода.
Ветер бросает нечет и чет,
Тихо стоят невода.

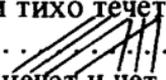
* Великое Нечто!

В воздухе мглистом испарина,
 Где-то не знают кручины,
 Темный и смуглый выросли парень,
 Рядом дивчина.
 И только шум ночной осоки,
 И только дрожь речного злака,
 И кто-то бледный и высокий
 Стоит, с дубровой одинаков.

Тихо течет тихая музыка этой поэмы Леса, поэмы Руси, поэмы вечной жизни поэта. Опорные гласные -и, -е, -ео, опорные согласные -т, -ч, -с образуют особую музыку *молчания, шепота, тишины*. Смело можем говорить здесь о словах-лейтмотивах. Таковы: точит – и его звуковой вариант, звуковой заместитель – течет. Схематически это выглядит так: ТОЧИТ – ТЕЧЕТ. В немецком языке для такой математической комбинации существует термин "Platzhalter". Несомненно, слово *течет* и также звуковой символ *тчт* – *тчт* явились звуковым тематическим фундаментом для музыки всего построения в целом. *Тчт* – *тчт* дали новое сочетание: *нечет* – *чёт*. Так рождается богатая составная рифма, захватывающая всю вторую половину строки:

Точит деревья и тихо течет

 Ветер бросает нечет и чет



Соотношение рифмующихся полустроков изобразим схематически так:

тихотечет
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 нечетичет

Рифма возникает здесь как наисовершеннейшая гармония звуковых соотношений и как совершенная, законченная симметрия всех компонентов образа: как симметрия зву-

кового ряда, так же ряда буквенных символов, так же и метроритмического ряда. Можно говорить и о логике математических соотношений, о замечательных пропорциях формы обеих рифмуемых строк, о строгой комбинационной логике сменяющихся и *заменяющихся, замещающихся* созвучий. Богатые составные рифмы служат основой музыки всего стихотворения. Музыка эта вырастает еще и из звукового, тематического единства интонаций, из последовательно проведенного лейтмотивизма.

Обращаю внимание читателя на такие строки:

И только шум ночной осоки,
И только дрожь речного злака,
И кто-то бледный и высокий
Стоит, с дубровой одинаков.

Первые две строки этого примера гармонично скрещены, образуя *пару* созвучий (И только — И только — ночной — речного, осоки — злака); далее из *осоки* вырастает созвучное *высокий*; *злака* дает созвучие *одинаков*. Все вместе, переплетаясь, образует совершенную полифонию созвучий, поющую ткань живой плоти стиха. Можно ли думать здесь о рифме как о "звуковом повторе, ... чаще всего — начиная с последнего ударного слога"...? Звуковой повтор предполагает нечто автоматическое, неживое. Нет, не звуковой *повтор*, но звуковое *развитие*, звуковой рост, цветение звука, звуковая полифония — вот что такое РИФМА в рассматриваемом стихотворении.

Оно поет и звучит множеством тихих мелодий. Из этих мелодий постепенно вырисовываются *картины*. Картины, написанные с помощью слов: метафоры. Зрительные образы, порождение метафор, однако, *тихо* перетекают вновь в звуковое; мы видим и слышим и ощущаем *тихое* качание *синей воды* (не-воды?), видим диковинный образ: *речной злак*, — и это есть не что иное, как *тихое качание* полусонной *синей* воды (не-воды); видим этот тихий

зачарованный, заколдованный вечер. Видим эти *светлые* краски: золото (дрожь — читай: *рожь* речного злака), синее ("в синих рябинах вода"), мгlistая, смуглая вечерняя пора, слегка тронутая золотом и синевой.

И на фоне этих красок:

Кто-то *бледный* . . .

(Стоит, с дубровой одинаков).

Так над легким движением и передвижением *легких* красок, словно дуновение вечернего воздуха, струится дыхание вечной жизни природы; и над ней — вечное присутствие мысли поэта, который *одинок* в вечерней дуброве, но *одинаков* с ней.

* * *

Светло завершается звукописание светлого вечера. Светла вечерняя дуброва, и светел мыслью *Кто-то Бледный и Высокий* . . .

Но светел мир хлебниковской поэзии вообще. Светел и светится: всеми оттенками красок природы. Ничего, более разнообразного по цвету, не знает мировая лирика. Почти каждая строфа — маленькая цветовая симфония. (Я написала эти слова и посмотрела случайно на страницу раскрытой передо мной книги; там

"Небо разделено было золотой чертой, темный зеленый цвет нижней половины давал ему вид масляной стены присутственного места. Золотой узор вился по стене неба".

Или:

"В этом месте 4 заводские трубы, красные и простые, подымались как свечи образу более могучему, чем башни прошлых столетий.

. . .

А за ними цвел мощный лютик или калужница — зо-

лотой купол с серыми иссеченными людьми вдоль стен”.

Или:

Золотистые волосики
Точно день Великороссии.
В светлосерые лучи
Полевой глаз огородится:
Это брызнули ключи
Синевы у Богородицы.

Так же:

Звонят голубые бубенчики
Как нежного отклика звук
.....

Еще:

Русь, ты вся поцелуй на морозе!
Синеют ночные дорожи.
Синею молнией слиты уста
Синеют вместе тот и та,
Ночами молния взлетает
А ночь блестит умно и черно.

И множество других...)

Мир Хлебникова: радужный, многокрасочный. Здесь воздух напоен не только звуками: краски, свет и цвет — все сверкает и переливается под яростными лучами Ярилы-Солнца, под ярким, ярим, светоносным, смертоносным Солнцем. Разноцветные тени пробегают по волосам странных существ, всех этих Вил, и Леших, и Кудесников, и Юношей. Но мир красок этих — не только обитель полуфантастических существ. Это — одна, единая, вечно изменяющаяся, ломкая, всякий миг по-новому прекрасная стихия; горячая от прикосновений Солнца, яркая от излучений ду-

ши Поэта. Какая-то высокогорная страна вечного незаходящего солнца, где каждая пылинка светится и играет миллионами оттенков, где ледяные пики и шапки гор отливают зеленым, оранжевым, синим и белым — таким всегда рисовался мне ландшафт души Хлебникова. Удалось ли ему сделать этот мир зримым, удалось ли воплотить его в Слове до конца — не знаю. Знаю лишь, что именно несоизмеренностью своего огромного мира — со звуком, неподвластностью этого странного, диковинного, нечеловечески прекрасного, угловатого мира — графике и звучанию человеческой речи терзался он всю жизнь свою, недолгую, краткую. Всю жизнь он искал новую символику знаков, ища спасения то в математике, то в истории, то в лингвистике. Я думаю, что его математика — не что иное, как какие-то новые и еще неведомые, непонятные нам законы поэтической логики, логики поэтических символов. Я думаю также, что ни один поэт мира не подходил так близко к тайнам *невыражаемого*, к той границе, что лежит между словом и не-словом, к той недоступной черте, за которой — темнота и молчание...

... От истории — к математике, от математики — к бесконечности; к мечтам о "едином мировом", о мировом пространстве, где можно будет изъясниться на едином мировом "научно построенном языке", на языке, что объединит народы и научит людей жить по законам любви... Где он, этот язык гармонии?.. "Языки изменили своему славному прошлому. Когда-то, когда слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным, языки, шагая по ступеням объединяли людей". "... Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые начертательные знаки помирят разноголосицу языков". И в другом месте, снова: "Когда-то языки объединяли людей".

"Язык так же соединял, как знакомый голос. Оружие — признак трусости. Если углубиться в него, то ока-

жется, что оружие есть добавочный словарь для говорящих на другом языке — карманный словарь”.

Язык подчинен нравственному закону — так Поэт понимает свое Дело: ”Если свет есть один из видов молнии, то этими двумя столбцами рассказана молниеносная, световая природа человека, а, следовательно, нравственного мира. Еще немного, и мы построим уравнение отвлеченных задач нравственности, исходя из того, что начало ”греха” лежит на черном и горячем конце света, а начало ”добра” — на светлом и холодном... И так в этом примере языкознание идет впереди естественных наук и пытается измерить нравственный мир, сделав его главой ученья о луче...”

Таковыми рассуждениями Поэт сопровождает свои изыскания о природе человека и его слова, об изначальных знаках языка. Он предлагает некую таблицу, два столбца которой экспонируют изначальную природу словесных символов русского языка; по мысли Автора, здесь вскрывается, рассказана ”световая природа нравов, а человек понят, как световое явление, (...) человек — часть световой области”*

Здесь остановимся на мгновение. Слишком важные слова нам доверены, раскрыты, *поведаны*... Кто из нас мог бы задуматься над ними? Кто-нибудь тоже верит в это — что человек — световое явление?.. Или — улыбнемся снисходительно, с видом неизмеримого превосходства обладателей истины в последней инстанции?..

Но, думается мне, здесь должно оставить Поэта наедине с его упованием и предоставить Его собственному одинокому пути. ”Человек понят как световое явление”, — откровение это принадлежит Ему, Поэту, только ему одному. Не будем же претендовать на это его достояние.

Это — собственность его, такая же, как одна из поэм. Нам нет надобности присваивать эту мысль или же коммен-

* См. V.V. Chlebnikov. Gesammelte Werke. W.Fink Verlag, Munchen, 1972, Bd. III, 222, 216, 225, 232, 233; см. также ”Доски Судьбы”, там же, стр. 485-520.

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

недо дружно и пахнет сизью
~ ~ ~ ~ ~ и вышней ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

О, поподите, поцадите
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

О, ПОМОДИТЬ О,
~ ~ ~ ~ ~

ПОЦАДИТЬ ВЪ
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

я и так исте като собото
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

я и так уж растет степью
~ ~ ~ ~ ~ и ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

тировать ее как некую всеобщую истину или школьную пропись. Кто хочет принять эту сокровенность, это *весеннее упование* Поэта как драгоценный дар, заключить эту тайну о себе самом и мироздании, что нас всех окружает, в свою душу, пусть сделает это молча, в благоговейной тиши.

Потому что тишиной окружена была стихия стихов Поэта. И благо есть, что по сей день не сопровождается она барабанным боем "славы", "признания", всеобщего ликования.

Тишина — вот самое надежное свидетельство судьбы в пользу ДЕЛА ПОЭТА. Так свидетельствует жизнь. Так мир молчаливо принимает сторону правды.

Тишиной окружена была смерть поэта Хлебникова. Он *тихо* покинул мир. Примечательно, что и он, повинаясь некой таинственной традиции, предугадал и множество раз довольно точно описал свою смерть, как это принято у поэтов — вспомним Пушкина с его Ленским, или Гумилева с его "Рабочим", или лермонтовские предсмертные "вскрики" в "Смерти поэта".

Лермонтова и его Смерть поэта оплакал Хлебников, воздав ему, на свой лад, воинские почести. Мне это стихотворение 1921 года, предсмертного года, представлялось всегда предчувствием смерти — КРАСИВОЙ СМЕРТИ, говорит нам Автор:

На родине красивой смерти — Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза
И белый лоб широкой кости.
Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости
К себе на небо взяло небо.
.....
Глаза убитого певца

И до сих пор живут
Не умирая
В туманах гор —

Не так ли живут глаза и певца этих мелодий, — в туманах и облаках тихой северной природы, посреди которой он и принял свой тихий конец — на какие пространства устремлен был взгляд поэта, предсмертный взгляд, который и *до сих пор живет, не умирая*, какие песни пело ему при этом русское тихое поле — на языке каких звуков?..
”Манч, манч — слышалось ему издали...”

Но что же гибель воина Лермонтова?

.....
А небо облачные почести
Воздало мертвому певцу

.....

Так поэт-странник, вагант, дервиш, видит смерть поэта — воина и странника. Гибель поэта, для Хлебникова — естественное продолжение жизни поэта, и в этом небольшом стихотворении автор невзначай развернул нам целую философию начала и конца пути пророка. Поэт — сын стихии, сын неба, также ”сын земли с глазами неба”, — и молнии воздают ему военные почести. Так возвращаемся к нашему исходному пункту, к началу, к началам начал, и еще и еще, вновь и вновь, и в последние, приходим к великому пантеистическому закону жизни, — и теперь пора сказать — так же и смерти Хлебникова. Прощаясь, припадаем к его стиху — на этот раз для того, чтобы прислушаться к мелодиям смерти, прощальным песням Поэта.

”Остановитесь, Что делаете, убийцы?” — кричат тучи убийцам поэта. Буря, что символически оплакала гибель Лермонтова, ”прекрасна, как убитого глаза”, — и этим автор еще раз хочет сказать, что поэт оставляет стихии свой последний знак приветия, вечный знак своего вечного присутствия на земле.

Стихия хоронит стихию, неподвластную людскому суду, и знаменательно, что люди, человеческие существа, враждебные поэту, убийцы его, не появляются в стихотворении. Оплакивая поэта, Хлебников попросту забывает о людях-червях, палачах поэта. Но люди — дети стихии, люди, которые поэту сродни, люди-горцы говорят о буре так: "То Лермонтова глаза". Это — друзья поэта, простые и чистые дети гор. Поэт живет с ними, и, погибнув, покоится под музыку их спокойного и краткого слова.

И доньне во время бури
Горец говорит:
"То Лермонтова глаза".
Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести,
И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза.

Хлебников — бог поэзии — добр. Его "Смерть поэта" не содержит гневных филиппик в адрес убийц. Он жил в иных намерениях, в разреженной атмосфере высоких стихий. Он хоронит воина-Лермонтова, чей железный стих облит горечью и злостью, без горечи и злости, с ясной душой, не поколебленной ни отчаянием, ни ненавистью, ни тоской.



"... цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире".

Население звезды, затерянной в мире, — пожелает ли оно прочитать эти знаки? И что это за такие знаки?..

Не будет ли это кошунством, если мы скажем так: Знаки эти, понятные почти всему населению звезды, — не что иное, как поэзия, песнопение людей?.. Нужен ли нам,

населению такой незначительной и безнадежно затерянной в мире звезды, — другой общий язык?.. Да, подумайте только: кто и что, которая часть населения звезды воспользуется этим общим письменным языком?.. Что будет написано на этом общем языке?..

Но если мы приняли за решение теоремы Поэта такой ответ, что общий письменный язык людей — Поэзия, то почему бы не воспользоваться и еще одним уравнением Поэта, почему бы не сказать его словами, — ах, я твердо уверена, что на вопрос: какие слова написаны будут на общем языке, Поэт, не задумываясь, ответил бы:

Род человечества — книги читатель.
И на обложке — надпись творца,
Имя мое, письмена голубые.

.....
Точно уроки закона Божия
Эти горные цепи и большие моря.
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь.

.....
И еще один ответ, окончательный: еще раз пропоем "Песнь песней", послушаем — в последний раз — "Слово о Эль":

Прямостоячее двуногое,
Тебя назвали через люд.

.....
Когда с людьми мы, люди, легки, —
Любим. Любимые — людимы.

.....
В любви сокрыт приказ
Любить людей,
И люди те, кого любить должны мы.

Мне хочется вблизи этого радостного Слова завершить мое — скромное. Это, быть может, единственная доступная нам, людям, радость: читать и перечитывать строчки и страницы откровений, — письменных знаков, обращенных к человечеству, но не всегда понятных ему. Понятных или нет, — будем ли мы спорить об этом вблизи этой чистой, как *ручьи чистоты*, музыки? Тихой музыки, — мне чудится все, что пелась она сквозь слезы. Может быть. Или, может быть, мы слушаем ее со слезами в душе?.. Если это слезы, то лишь слезы радости.

Тишина этих слов примиряет нас, людей, с неотвратимым и непобедимым законом жизни, по которому лучшие среди нас, Провидцы и Творители Тихих Знаков Радости и Любви, изгоняются за пределы человеческого мира.

Люди, прямостоячие двуногие, любить которых завещал нам Поэт, не позволили Ему выполнить свое земное назначение.

И он вынужден был вернуться в то НЕ-, ДО-, или НАД- бытие, о котором грезил так прекрасно.

Быть может, частицы его беспредельного Я блуждают в беспредельностях галактик, посылая нам холодный свет из неизмеренных пространств, пробуждая в нас вечную тоску о несбыточности искусства.

Вена, 1979-1981

Иллюстрации автора.

Борис Гройс

О РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Обычно все, говорящие о русской философии, испытывают определенную неловкость. В России нет академической философской традиции, сравнимой с французской, английской или немецкой традициями, да и с китайской, и с индийской. Вместе с тем нельзя сказать, что русская мысль была бесплодна. Она оказала и оказывает глубокое влияние на многих и за пределами России. Правда, имена, которые тут же вспоминаются, Толстой и Достоевский, например, — имена писателей, а не философов. Но ведь и в современной западной философии на первом месте отнюдь не профессиональные философы, а социолог и экономист Маркс, психиатр Фрейд, писатели Пруст, Джойс, Кафка, Беккет и многие художники и музыканты, не говоря уже о лингвистах и этнологах. Так что русская духовная ситуация во многом стала сейчас и европейской ситуацией. Тем более она стоит внимания.

Русская философия начинается, как это всеми признано, с "Философического письма" Чаадаева. Это письмо — странный документ, но основная его странность прошла мимо внимания почти всех комментаторов. Она состоит в несоответствии между его названием и содержанием. Письмо называется "Философическим", но о философии в нем не говорится ни слова, а речь идет только о русских порядках и о судьбах России. Нет ни слова ни о теории познания, ни об онтологии, а все только об истории и о политике. И отчасти о национальной психологии. И тем не менее

это письмо, конечно, именно философическое, а не социально-критическое. Оно явилось реакцией на философию Гегеля, которая в то время набирала силу, да и вообще на философию германского романтизма, которая, в свою очередь, была реакцией на французское Просвещение и на опыт Великой французской революции. Таким образом, для понимания философского смысла чаадаевского письма следует обратиться к исходному пункту новой европейской философии — к Декарту и просветителям.

Декарт и Просвещение выдвинули в качестве критерия истины ее непосредственную очевидность. Этот критерий предполагает изначальную раскрытость мира человеку, т.е. непосредственную и исчерпывающую доступность всего сущего для любого вне зависимости от его образования, социального положения, расы и т.д. Это очень смелое утверждение, и само по себе оно, конечно, отнюдь не очевидно. Оно противоречит всем давно сложившимся представлениям, которых оно, в сущности, так и не поколебало. Испокон веку источником истины была традиция: некоторый текст, некоторое слово, некоторый уже накопленный опыт. Считалось и считается, что человек сам, только своими силами, ничего не может раскрыть в мире. Человек сам по себе беспомощен. Он рождается, ничего не зная. Чтобы узнать что-либо, ему нужно обратиться к источнику знания.

Декарт и просветители настаивали, напротив, на том, что вне и помимо всякой традиции и всякого знания всем людям присуще некое единство понимания мира, в котором они живут. И это общее понимание является фундаментом их жизни. Культурная же традиция лишь искажает это изначальное понимание, и поэтому она должна быть отброшена. Тогда разделение людей исчезнет, а их единство обнаружится. И что еще очень важно — оно обнаружится в языке, в восприятии людьми речи. Истина как непосредственная очевидность выявляется прежде всего в непосредственно убедительной речи. За этим основным положением новой европейской философии скрывается апелляция к определенному психологическому факту: в спорах и разговорах людей всегда наступает такой момент, когда в них слышится нечто, что оказывается для всех равно убедительным.

тельным. Не из-за ссылки на авторитет, на знание или на власть, а просто потому, что все слышат нечто и понимают: это так и иначе быть не может. Это и есть звездный час философии. Европейская философия немислима без веры в этот опыт, в его достижимость. В надежде на него льются потоки чернил. Только эта вера придает философу достоинство, дает ему силы презирать иные источники власти над душами людей. Если во всех остальных случаях люди склоняются перед мнением другого из страха или корысти, внутренне не доверяя ему, то философ надеется найти такие слова, которые будут убедительны для всех людей непосредственно, "изнутри".

Эта новоевропейская философская вера действительно явилась Возрождением греческой традиции: именно такова была вера Сократа, Платона, Аристотеля. Но не следует забывать, что греческие философы опирались на реальную культуру греческого полиса. В греческом полисе люди жили в тесной близости друг к другу и все время друг с другом разговаривали. У них поэтому вырабатывалось единство понимания — как в одной семье. Когда Декарт перенес этот принцип на разделенную Европу и на весь мир, это могло быть только актом веры, что и подтверждает сам Декарт своей ссылкой на Откровение, на то, что Бог не может обманывать людей. Всеобщая доступность истины, ее всеобщая очевидность получают у Декарта теологическое обоснование, на что обратил внимание уже Паскаль. У Декарта и просветителей постулируется единство человеческого рода как единство "детей одного Бога". Однако то, что здесь игнорируется — это Церковь, ибо Откровение и приобщение к нему дается исторически через Церковь. Для Декарта фактически все человечество становится некоторой "бессознательной Церковью". Но это уже определенный теологический выбор. Иначе говоря, философская вера оказывается вариантом христианства, но сектантским вариантом. Это род схизмы, хотя и замаскированной. Для полноты картины следует отметить, что эта вера в слова является чисто европейским феноменом. В "Упанишадах", например, утверждается, что все слова обманывают, а не обманывает лишь дыхание, ибо без слов человек может прожить, а без дыхания — нет.

Философия Просвещения — именно в качестве особого рода религиозной секты — стала источником Великой французской революции. И здесь она полностью обнаружила свою несостоятельность. Революция привела к истерии, к террору, к массовому уничтожению людей. Она захлебнулась в крови, потому что магического и для всех очевидного слова не нашлось. И тех, для кого слова революционеров оказались неубедительными, пришлось убить, потому что иной основы для общественной жизни, нежели для всех очевидное слово, просветители просто не знали. Этот трагический опыт привел к политическому компромиссу между Просвещением и враждебными ему силами и вытеснению философии в автономную сферу деятельности, с которым философия так и не примирилась.

Политический компромисс между враждебными идеологиями означал для философии утрату почвы под ногами. Гегель и немецкий романтизм попытались выправить положение указанием на то, что культуре и традиции, отвергавшимся просветителями, самим по себе присуща определенная рациональность. Тем самым отдельный человек, усмотрев эту рациональность, оказался в состоянии постичь современное ему общество и жить в нем: чисто внешний компромисс он увидел основанным на некоей общей почве, общей рациональной основе. Поиск и обнаружение этой общей почвы определялся диалектически как синтез традиции (тезис) и Просвещения (антитезис). Роль философа, как и каждого отдельного человека, состояла теперь в осмыслении равновесия политических сил, коль скоро оно оказалось достигнутым. Тем самым разум и очевидность утратили у Гегеля свой безусловный и всеобщий характер. Очевидность появляется в конце исторического пути, а не в его начале. Носитель очевидности уже не просветительский "идеальный дикарь", а европеец, умудренный своим историческим прошлым.

Для европейцев это было, возможно, утешением, но для других — страшным ударом. Выходило, что такая, например, страна, как Россия, пребывает вне истины и даже вне возможности к ней приблизиться, ибо ее история лишена и тезиса и антитезиса, так что о синтезе не приходится и говорить. Именно в такой ситуации оказался Чаадаев — и

здесь источник его философствования. Для того, чтобы философствовать, ему нужно было завоевать это право, доказав, что в России возможно истинное мышление. Но Россию нельзя уже было представить "дикой" или "природной" страной на просветительско-сентиментальный манер. Нельзя было и представить ее особой страной с особой культурой, ибо это означало бы окончательно вывести ее из сферы мировой истории Духа и присущей ей истины. И здесь Чаадаев изобретает "особый путь России". Этот путь состоит в недоступности для России никакой культуры, никакой науки и никакой философии вообще. Россия оказывается отделена от мировой культуры и от мирового развития пропастью, которую невозможно перешагнуть.

Это могло бы быть укором и ограничением для России. Но на деле это оказывается ограничением и крахом для европейской философии. Ибо чего стоит апелляция к универсальной силе слова и к универсальной истине, если на Земле живет великий народ, от которого все слова отскакивают как от стенки горох и который живет вне мировой истории вообще? Если немец Гегель оказывается в состоянии диалектически объединить мировую историю во всех ее противоречиях в рамках единого сознания, то русский Чаадаев отказывается это сделать. Он переживает свой разрыв с Европой как нечто радикальное и не поддающееся примирению ни в какой единой для всех людей речи, ни в каком едином для всех людей созерцании. Тем самым Чаадаев дискредитирует философию в самой ее основе. Его письмо является на деле не "Философическим", а "Анти-философическим". Оно есть по существу критика и разоблачение философии под видом критики России. Ибо Россия как была, так и осталась после письма Чаадаева той же. Русская же мысль под влиянием чаадаевской аргументации отвернулась от философии и стала искать иных возможностей.

В первую очередь наследниками Чаадаева стали западники и славянофилы. Западники заняли, как отчасти и сам Чаадаев, чисто внешнюю позицию по отношению к западной культуре под лозунгом "возьмем все лучшее, что создано мировой культурой". Этот лозунг идет от Чаадаева через Белинского, Герцена и Чернышевского вплоть до Ле-

нина и Сталина. Недостатком этого лозунга является полная неясность относительно того, каковы критерии отбора "всего лучшего" и кто, собственно, должен его производить. В этом лозунге отчасти происходит воскрешение просветительской веры в "дикаря", которому со стороны лучше видно. Такая интерпретация мысли Чаадаева уводит ее обратно к предгегелевской эпохе. Славянофилы попытались реконструировать — а точнее сконструировать — отдельную русскую культуру, что также шло наперерез мысли Чаадаева, ибо лишало Россию и русскую мысль универсального предназначения. Кроме того, сама эта реконструкция шла по западным образцам.

Подлинный следующий шаг в развитии русской мыслительной традиции делают Толстой, Достоевский и Соловьев. Каждый из них на свой лад и с большей или меньшей степенью последовательности возобновляет основную чаадаевскую тему: отсутствие самоочевидной истины, внешний, а не внутренний, характер всякого знания. Достоевский и Толстой повторяют все одно и то же в своих романах: не доверяйте вашему внутреннему голосу, не доверяйте внутренней очевидности. Внутренний голос представляется человеку голосом истины, но он оказывается голосом пошлости, подлости, стяжательства, зависти, похоти — каким угодно, но только не Божественным голосом. Лютер и Декарт — каждый на свой лад — надеялись, заглянув в свою душу, встретить там Бога. Русские писатели в эту встречу не верят. В этом смысл знаменитых слов Достоевского: "Я с Христом против истины". Христос здесь — это прежде всего внешняя реальность, это Воплощение, пространственно-временное событие, имеющее конкретные координаты. Достоевский противопоставляет Христа — истине, т.е. началу безличному и проявляющемуся везде и нигде, спонтанно и чисто словесно. Истина оказывается неотличима от дурных страстей, от Эроса, разлитого повсюду. Достоевский обращается к Христу как к Тому, Кто пришел извне, Кого можно встретить, Кто не тождествен самому человеку. Толстой обращается к абсолютной Богооткровенной морали, Соловьев — к Теократии. Различным образом все они стремятся найти внешнюю опору для человеческой жизни. Традиция, в отличие от философского

умозрения, имеет пространственно-временные измерения, она присутствует вне магического "момента просветления", в котором происходит узнавание очевидности.

Эта объективность традиции приобрела особенную отчетливость на фоне тех способов, которыми русские усваивали западную культуру и науку. То, что на Западе носило название "позитивизм", в России получило название "нигилизм". И не зря. На Западе позитивные науки апеллировали к очевидности, к убедительности. Так же, как и позитивная мораль, эстетика и т.д. В России же обращение к наукам было вызвано лишь завистью к успехам тех наций, которые, как это полагали, ими руководствовались. Модные теории импортировались, подобно модным товарам. Разумеется, эти теории были лишь продуктом деятельности западных обществ, а не их основой. Пытаться построить на их основе новое общество и есть нигилизм, ибо такая логика обнаруживает отсутствие — отказ от — собственной почвы. Западные теории тем самым из позитивных — т.е. обращенных к позитивной проверке на очевидность и к позитивному общественному согласию,— превращались в России в нигилистические, поскольку искомое согласие должно было возникнуть впервые на их же основе. Сами они принимались без всякого основания, просто на веру, из доверия к нациям, которые их создали.

При этом русская революционная нигилистическая интеллигенция отнюдь не сливалась душевно с Западом. Когда ее представители оказывались на Западе, то они обычно приходили в ужас от западной жизни и становились более яркими националистами, чем самые закоренелые славянофилы. Они сразу же обнаруживали, что западное общество отнюдь не построено на основе его собственных теорий. Они обнаруживали, что их мышление утопично и что Россия ближе к утопии, чем Запад. Русский социалист-нигилист больше всего на свете ненавидел западное "мещанство", т.е. народы западных стран, и более всего не хотел, чтобы русские этому мещанству уподобились. Он ненавидел также западную интеллигенцию за ее "позитивизм", за ее растворенность в своем народе — в мещанстве. За то, что она стремится к общественному признанию своих идей. Короче, за то, что она живет философской верой. Русский ин-

теллигент никогда не верил, что он будет понят своим народом. Урок принципиального разрыва он прочувствовал глубоко. Русский интеллигент хотел власти и только власти. С ее помощью он надеялся создать общество, в котором всеобщее понимание станет возможным. Иначе говоря, русский интеллигент превратил теорию — социально-политическую теорию — в предпосылку философии. В то время как в странах философской веры общественные теории и их успех являлись результатом общественного консенсуса, в России они должны были стать его предпосылкой. Вся полемика велась именно вокруг этого "практического априори".

Этот парадокс русской интеллигентской мысли был остро почувствован русскими религиозными философами конца XIX — начала XX веков. Для них стала ясной абсурдность попыток спроектировать "общество философов" с помощью социальных теорий, лишенных философской позитивности и остающихся поэтому лишь теориями. Нельзя искусственно построить общество, в котором философия — иначе говоря, взаимное понимание — путем спонтанного согласия стало бы возможным. Следовательно, надо искать других путей общественного взаимопонимания. Русская философия нашла такой путь в христианской традиции.

"Видимая" Церковь есть часть мира. Воплощение Христа — внутримирское, внутриисторическое событие. Если научная теория, приходя к человеку извне, апеллирует к какой-то таящейся внутри самого человека рациональности, то Церковь этого не делает. Ее "воплощенность" делает ее открытой без очевидности. Церковь и тогда Церковь, когда веры нет. Она в любом случае присутствует объективно. И при том Церковь присутствует не как камень или зверь и не как другой человек, а как воплощенное слово. Иначе говоря, Церковь сама раскрывает себя в слове, в речи. Она присутствует в мире как самоописание, как самораскрытие своей собственной внутренней сущности. Разумеется, о Церкви можно говорить и извне. Но такая речь извне уже представляет собой определенный выбор в пространстве, очерченном самой Церковью, постольку поскольку сама Церковь уже ранее разделила сущее на то, что есть она сама, и на то, что есть внешнее по отноше-

нию к ней, и таким образом сама определила то внешнее пространство, из которого на нее может смотреть незаинтересованный наблюдатель. Здесь как раз отличие христианской традиции от философии, для которой нет ничего внешнего, ничего недостижимого. Поэтому внешняя точка зрения, подобная чаадаевской, разрушает философию, а Церковь не разрушает.

Русская философия, да и вся русская литература — после Достоевского и Соловьева увидела в христианской традиции, в Церкви возможность иного нефилософского понимания слова. Западный философский путь оказался невозможен. Академическая философия в России осталась бесплодной, поскольку не могла опереться на единство понимания, на общность мысли и чувства. Но многие русские философы и писатели избрали иной путь. Они стали писать о себе, о своем собственном опыте по аналогии с текстами Священного Писания и по аналогии с житиями Святых. Толстой пишет новое Евангелие. Соловьев пишет новый Апокалипсис. Федоров обещает собственный путь к Воскрешению. Достоевский представляет в своем романе нового Христа. Герои романов Достоевского и Толстого напоминают героев христианских житий. Литература начинает пророчествовать, а философия комментировать пророчества.

Такой подход к слову предоставляет писателю и мыслителю новую свободу. Он освобождает его речь от требования общезначимости, от апелляции к здравому смыслу. Автор оказывается как бы вне языка, вне понимания и согласия, вне всяких априорных требований к тому, что он говорит. Его отношение ко всякой речи чисто внешнее, со стороны. И такого же отношения со стороны его речь требует к себе. Согласен или не согласен читатель с "Философией общего дела" Федорова? Вопрос абсурдный. А при том очень и очень многое можно сказать если не в защиту этой книги, то о ней.

Роман Соловьева с небесной Софией, "апокалиптизм" Бердяева, бывшее, ставшее небывшим, Шестова — все это явления одного порядка. Все это результат вдруг открывшейся новой свободы. Язык Откровения дал всем этим писателям возможность отнестись к себе и своей речи извне,

дал им свободное пространство. Шестов распространяет открывшиеся возможности понимания на всю западную философию, представляя философскую речь лишь извращенным способом самоописания самого философа. Флоренский пытается систематически построить философию культа извне, с точки зрения эстетически ориентированного наблюдателя. Розанов стремится построить универсальный эротический миф. И все это — прорыв в ту брешь, которую пробил еще Чаадаев в непрерывности и единстве философского сознания. Результат созданного им мифа о России как о ничейной земле.

Выше уже говорилось о том, что единство философского сознания расколосось и в Европе. Решающую роль здесь сыграл Ницше. Но не меньшую и Маркс, и Фрейд, и другие. И для западной мысли стало очевидно, что универсальное единство человеческого понимания — это иллюзия, заблуждение, философско-геологическая ересь. Общество расколото на классы, на психологические типы, и, наконец, оно просто расколото неизвестным еще образом. Единство человечества — бессмысленная утопия. В атмосфере, порожденной этим новым опытом, на Западе расцвели различные разновидности наукообразной мифологии: марксизм, фрейдизм и т.д. Мифологии чисто нигилистической, поскольку она оторвалась от позитивной философской веры, так что наука утратила здесь свое рацию, оставшись пустой формой речи. Многие устремились к установлению единства там, где его нет и быть не может, путем ли революции, путем ли психологической терапии. Т.е. все тем же нигилистическим путем.

В этих условиях опыт русской мысли представляет большой интерес. Русская мысль была несколько поспешна. С излишним самомнением она решила, что священные книги можно написать заново и что ее пророчества обладают даром представить вещи такими, каковы они поистине есть. Но в то же время она оказалась очень чувствительна и проницательна в отношении претензий науки занять место дискредитировавшей себя философии и указала на традицию, которая не боится расколотости мира, — на христианскую традицию.



Зиновий Зиник

ЭМИГРАЦИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЕМ

1.

“Чтобы написать настоящую книгу о своей собственной стране, нужно прежде всего из нее уехать”, — сказал Жан-Жак Руссо. Этот афоризм французского мыслителя я вычитал из писем Джеймса Джойса: он вооружился этой фразой, покидая Дублин. Я же читал письма Джойса по-английски, уехав из Москвы и оказавшись на холмах Иерусалима. Бродя по Иерусалиму и думая о далекой Москве, я понял, что ностальгия по родному Дублину и сделала один дублинский день в “Улиссе” Джойса таким монументальным и одновременно крайне подробным. Законы памяти обратны законам перспективы: чем дальше в прошлое, тем крупнее кажутся детали. Кроме того, я вспомнил, что Гоголь писал “Мертвые души”, сидя в Риме. Да и Овидий Назон жаловался, как холодно ему, эмигранту и ссыльному, на берегах Черного моря. Кроме громких имен классики можно вспомнить, скажем, Зингера, который уехал из Варшавы в Нью-Йорк, или Канетти, которого увезли ребенком из Болгарии в Англию. Или ирландца Беккета в Париже. Или литовца Милоша. Поразительно, что в последнее время дают Нобелевские премии одним эмигрантам. Да и кто из писателей в наше время не эмигрант? В XX веке трудно назвать имя сочинителя в западной литературе, не уехавшего из своей собственной стра-

ны. Хотя бы из Англии в Италию, или из Франции в Англию, или из Европы в Америку, или наоборот. Направление и выбор страны как будто бы совершенно не важны: лишь бы уехать куда подальше.

На то есть, конечно, причины общефилософского порядка. Видимо, вместе с эпохой Вольтера, энциклопедистами и вообще отделением церкви от государства кончилось царство единой идеи. Мышление и быт, подчинявшиеся законам и ритуалам религиозной доктрины, все наше существование дали трещину. И чтобы как-то отремонтировать расщепленный смысл бытия, мы стали бросаться из церкви в партию, из молитвы к манифестам, от идеи к идеологии, от канона к подтексту. Мы стали смотреть на мир двойными глазами, двойными очками — близорукоскопическими — и стали говорить на двух языках сразу, то есть лгать. Потому что ложь — единственный мост между не связанными событиями, которые когда-то имели одну первопричину. О подобной расщепленности нашего сознания можно сокрушаться, но она налицо — надо ее понять и с нею жить, пытаюсь увязать два мира — личной и общественной свободы, истины экзистенциальной и ортодоксально-религиозной, и т.д., и т.п. В эмигранте этот символ расщепленности, символ ухода от дома, от обычая и ритуала, материализуется. Эмигрант становится героем нашего времени.

Мысль о том, что до меня на эмигрантском попреще преуспели Гоголь, Овидий Назон, Джеймс Джойс и ряд Нобелевских лауреатов, меня утешала. Я только не знал, какую книгу мне написать о собственной стране. Кроме того, я подозревал, что уехал не из Испании гоголевского Попрещина. Дело в том, что Гоголь, сидя в Риме, понимал, конечно, что лучше сидеть в Риме, чем на хуторе близ Диканьки. Но он не отделял Диканьку от Рима в принципе — это был единый мир, в одном месте получше, в другом похуже. Половина романов Тургенева происходят в Баден-Бадене, но тем не менее люди и в тургеневских российских поместьях, и в Баден-Бадене занимаются тем же и разговаривают в общем-то одинаково, хотя одни из них западники, а другие славянофилы. Князь Мышкин от имени Достоевского ругает или восхищается Западом, откуда он вернулся в Рос-

сию, но ругает так, как может ругать Париж англичанин: он тем не менее туда едет и обратно возвращается. Ни один советский эмигрант в Советский Союз вернуться не может по причине "железного занавеса". И в отличие от Гоголя такой эмигрант, сидя в Риме, не поскачет на тройке Чичикова, управляемой Селифаном, вспоминая ностальгически советскую Москву. Я подчеркиваю — эмигрант не из России, а из Советского Союза.

Нашему самоощущению уникальности в эмиграции я обязан образованию на земном шаре Союза Советских Социалистических Республик. Первому в мире пролетарскому государству, стране, создавшей самовар, сталинские чистки, водку "Столичная", спутник и паспортный режим. Мир разделился на советскую власть и мировой капитализм. Раньше был везде капитализм, а теперь два мира — тут и там, а между ними "железный занавес". В мире образовался занавес, и вместе с этим занавесом образовалось формальное разделение мира на зрительный зал и подмостки. Где зрительный зал, а где подмостки, зависит от того, по какую сторону занавеса ты находишься. Но в каждой половине у каждого появилось ощущение уникальности происходящего перед его взором: на другой половине, там, где его нет, происходит спектакль, спектакль всегда уникален, по крайней мере ощущение того, что спектакль происходит. Когда из зала нельзя попасть на подмостки и обратно, твое театральное прошлое становится другим миром, погибшим Римом. Конечно же, писатели бежали от диктатур на протяжении всей человеческой истории. Бегут и сейчас — в Англию, Францию, в Америку и Японию. Советский эмигрант бежит не из страны. Он бежит от собственного прошлого, от самого себя, потому что в отличие от диктатуры советская власть укореняется прежде всего в наших сердцах: задача инженеров человеческих душ — это перестройка сердечной мышцы, и те, кто не выдерживают этой операции, впадают в летаргию или получают инфаркт. И уезжая, герой моего романа может с полным правом повторить слова Гейне из "Английских фрагментов": "Ненавистная отчизна исчезла из моих глаз, но я тут же обрел ее в своем сердце".

Насколько неповторима и уникальна разделенность

мира этим самым "железным занавесом"? Отличается ли эмиграция из Советского Союза от переезда, скажем, Есенина из деревни в город? Ответ: и да и нет. Весь вопрос в том, кто как поэтизирует противопоставление своего прошлого своему настоящему. Дело не в том, насколько это противопоставление соответствует действительности. Дело не в том, что с какой-то точки зрения бурный и непрекращающийся интеллектуальный треп в квартирах московской интеллигенции 60-х годов в каком-то смысле ничем не отличался от болтовни в парижском кафе или салоне в эпоху нацистской оккупации. И дело не в том, что идеологическая атмосфера в советском пионерском лагере по своей диктаторской дисциплине ничем не отличается от закрытых частных школ Англии 30-х годов — с определенной точки зрения. Эти определенные точки зрения должны интересовать историка или педагога. Меня же как романиста интересует то, что это разделение на советскую власть и капиталистический мир принято считать реальным. Все вообразили, что "железный занавес" существует. Все поверили в его уникальность. Мое прошлое тем самым принято считать уникальным, иначе меня сюда не пригласили бы парижские слависты*.

2.

Когда я думаю о советской Москве своих детских лет, я радостно вспоминаю прежде всего увешанную лозунгами улицу Горького с праздничной толпой на Седьмое ноября Первого мая дня Победы юбилея Революции. Мы с товарищем пытаемся прорваться через кордоны милиционеров, чтобы слиться с толпой демонстрантов, куда посторонним вход воспрещен. Потому что на демонстрацию назначают по списку. Потому что демонстранту дан пропуск на Красную площадь, где стоят на высокой трибуне вожди и каждый — член Политбюро. Красная площадь — сердце всей земли, и вожди охраняют это сердце, чтобы с ним не

* Публикуемое эссе представляет собой переработанный текст лекции, прочитанной З.З. в парижском Институте славяноведения в январе 1983 г.

случился инфаркт. Честь и слава тому подростку, кто обойдет милицейские кордоны одному ему известными проходными дворами и, преодолевая заборы и заграды, сольется с толпой демонстрантов и незаконным образом, хотя и по полному праву, помашет рукой вождям с Красной площади. В перерывах между этими великими праздниками мы собирали окурки на тротуарах и раскуривали их на городском кладбище: окурки надо было распотрошить, и табак свернуть самокруткой, используя газету "Правда". Куря самокрутки, мы рассуждали о том, кто из наших отцов главный герой Отечественной войны, а заодно мучили и убивали кошек. И играли в казаки-разбойники. В "белых" и "красных", в советских и шпионов. Мы твердо знали, что родились и живем в самой счастливой стране — в отличие от голодающих детей стран капитализма, которые живут в черной бездне, где копошится реваншизм и другие империалистические гадины. Летом нас отправляли в пионерские лагеря. Я чувствовал себя неразделимым со своей советской страной, и мое сердце билось синхронно с кремлевскими курантами и с молотами, кующими сталь Сталину.

Это единство стало давать трещину, когда однажды я, идя с бабушкой на базар, увидел в канаве пьяного человека в торжественно черном пиджаке и при галстукке. Хотя пиджак был грязный, но лицо было знакомым. Человек храпел, он был вусмерть пьян. "Почему у дяди знакомое лицо?" — спросил я бабушку. "Кто ж его знает", — сказала бабушка. "Это же Стаханов", — сказала она. Может быть, это был не тот самый Стаханов. Может быть, этот человек был одним из стахановцев: он перевыполнял в сто раз свою собственную норму — на этот раз норму выпивки. Я помнил это лицо по фотографиям в газете "Правда", из которой мы сворачивали самокрутки. Портрет в "Правде" никак не увязывался с лицом человека в канаве. Я тогда стал догадываться, что в газете можно найти одно, а в действительности другое, хотя это — одно и то же лицо. Лицо было тем же, но оно перемещалось, переходя из канавы в "Правду" и обратно. В этом выводе, наверное, и есть начало литературы и конец гармоничного отношения к действительности, в данном случае к советской. С этой догадкой о странном противоречии и несовпадении фактов и образов я

и жил, как и все подростки моего поколения; наверное, никогда и не вспомнил бы об этом, если бы не повстречался, как и все мы, со старшим другом.

Смерть Сталина эпохальна для меня тем, что впервые в истории советской власти из тюрем и лагерей возвратились люди, которым позволили говорить о том, что с ними произошло на этом советском свете. Впервые на улицах Москвы появилось поколение людей, которое не только не было поголовно уничтожено — оно еще и не держало язык за зубами. Эти люди, в отличие от других эпох и в отличие от других уцелевших, не вели себя как подследственные, рассаженные по разным камерам для предотвращения сговора. Этот сговор и произошел: между ними и юношами моего поколения — которое ни тюрем ни лагерей не знало. Или не подозревало об их существовании, или спокойно считало, что там гниют враги народа, в канаве на обочине столбовой дороги к светлому будущему. Ведь мы были первым поколением, которое воспринимало советскую власть не как режим, не как навязанный историей диктат революционных вождей, но как данность: ужасы революционного террора, коллективизации, сталинских чисток воспринимались как временные трудности в прошлом. Ко времени моего, послевоенного поколения, советское государство уже было окончательно и бесповоротно построено. Никого, а тем более подростка, не интересуют трудности, испытанные кем-то и когда-то в прошлом. Эти трудности разве что утомляли в школе: будучи совершенно лояльными пионерами и комсомольцами, мы, тем не менее, скрипя зубами заучивали партийные выводы доверенных съездов про левый уклонизм и правый ревизионизм. Нам было наплевать. У нас не было личных счетов с этим государством. Конечно, и мы искали шпионов в эпоху шпиономании, а когда таковые не находились, подозревали шпионов в себе. Поскольку сам я шпиона не нашел, вывод, точно помню, был один: я сам однажды окажусь предателем родины. Это чувство, опять же, аналогично чувству вины, скажем, у школьников-католиков — только вместо католической мессы мое чувство вины подогревалось советским радио и газетами. Потом этот страх о будущей шпионской карьере прошел. Кто бы мог подумать, что идея

эмиграции, то есть, с точки зрения партии, предательство родины, зародилась во мне, в конечном счете, благодаря Сталину. Но это все подсознательно.

Умом же и сердцем я ощущал себя или никем, или сразу всем советским народом в том новом мире, где тот, кто был никем, стал всем. Я был и никем и всем одновременно. Это уникальное чувство цельности мироощущения и было подорвано смертью Сталина, точнее, поколением вернувшихся с того, сталинского, света; избежавших казни, но завязанных в советской истории по уши. Они-то и объяснили, что почем и что к чему, и очень точно. Они объяснили, почему все крайне тошно. Выяснилось, что советский бравый новый мир в действительности тюрьма народов, организованная и управляемая большевистской бандой; что Сталин претворил в жизнь подсознание Ленина и даже после смерти Сталина никакой волюнтарист Хрущев не собирается уступать эту власть никакому другому блоку беспартийных и антикоммунистов, и вообще никому. И вообще все повязаны кровью. И все мы соучастники. И поэтому самый важный вопрос, который решало поколение людей, встреченных мною в юношеском возрасте, формулировался однозначно: "Кто виноват?" Как произошло, что чудовищная идея строительства рая на трупах десятков миллионов братьев помогла захватить власть в стране кучке бандитов? а когда давно стало ясно, что никакого рая не построено (а жертв все больше и больше), люди продолжают все так же ходить на собрания и митинги, где они подписывают смертные приговоры своим соседям (в момент митинга) и смертный приговор самим себе (в ближайшем будущем)? Какие идеи и эмоции стоят за готовностью человека наплевать на свою личную свободу во имя государственной безопасности, даже если эта госбезопасность в конце концов оборачивается его арестом? На эти вопросы существуют десятки ответов. Эти ответы стали формулироваться в самиздате, и за этими формулировками последовали новые аресты и новые вопросы. Так, я думаю, будет продолжаться еще одно тысячелетие. Вопросы эти, следовательно, историческо-риторические. Люди, с которыми я повстречался в возрасте подростка, были людьми историческо-риторического порядка.

Люди этого поколения потрясающе говорили: они рассказывали истории, от которых волосы вставали дыбом, терзало совесть и чесалось сердце. От одной истории они переходили к другой, пытаясь разобраться, как они "попали в историю", кто в этом виноват и что делать. Но у меня прошлого не было, я был вне истории, мои дворовые похождения, протыры на демонстрации и мальчишеские драки не были "историями" в их понимании. Мои лагеря были лишь пионерскими. Я их слушал, как Пушкин няню. А вокруг буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя — я имею в виду советскую власть. Я видел своих старших друзей с измученными лицами на фоне гигантского партийного собрания, голосующего за смертный приговор всей этой кучке интеллигентов, далеких от народа. Я не был среди участников этого зловещего партийного митинга, но и в прошлом за участие в нем тоже не сидел. Это была чужая история. Их история. У этих людей были свои женщины, своя ревность, свои счеты и свой пунша пламень голубой. Меня же приглашали на чашку чая: послушать. Я был слушателем, который нужен каждому рассказчику. История стала восприниматься мной лишь в личном плане — глазами моих старших друзей. Страна как таковая, Россия, СССР исчезла; точнее, распалась на кучку затравленных друзей и каменную безликую толпу.

С этого и начинается эмиграция: эмиграция есть разрыв всех связей со страной, кроме связей личных. Но для меня личные связи были облечены в слова исторической эпопеи, к которой я не имел никакого отношения. Однако каждый личный жест моих старших друзей воспринимался в рамках этой эпопеи как исторически значимый. И каждое историческое событие воспринималось как влияющее на личную судьбу моих старших друзей. Я же находился в положении верующего перед богами. Отделив себя от лживой и ложной страны, я превратил их самих в некую самостоятельную державу, судьбы которой я пытался отгадать. Каждое слово в разговоре было государственным указом, каждая ссора между ними — как государственный переворот, каждая женщина их клана — как бывший министр культуры Фурцева. Эта держава казалась мне другой

страной. И полноправные граждане этой страны говорили на языке самостоятельной державы. На языке, который мне казался иностранным. Это был особый загадочный язык, язык, конечно же, антисоветский, поскольку до этого я говорил лишь на советском языке. Эти люди цитировали другие книги, упоминали иные имена, мыслили другой диалектикой, и даже родной мне город Москва был для них другой географией: я не знал, к примеру, что Лефортово, где жил мой двоюродный брат, для них означает прежде всего Лефортовскую тюрьму, а площадь Дзержинского, где был замечательный магазин "Детский мир", был для них гебистской Лубянкой. Для меня это было открытием другого языка и другой страны — это была эмиграция, но эмиграция внутренняя: вокруг жила, любила, пела, арестовывала и завоевывала космос заодно с Чехословакией переставшая быть родной советская держава. И в ней я стал иностранцем, но языка новой для меня родины, страны моей "внутренней эмиграции", я тоже не знал. И я стал его учить. Я стал записывать разговоры моего нового правительства, моих старших друзей, судьбы которых мне казались загадочными и неповторимыми. Они и были загадочными и неповторимыми. Я упорно пытался отгадать загадку чужой судьбы.

Так мучился загадкой Версилова Подросток у Достоевского. Версиров говорит на языке, незнакомом Подростку. Он говорит загадочные вещи о России, Востоке и Западе. Он рассуждает. Сюжет, условно говоря, этого романа в том, что Подростку кажется — взрослые рассуждают о судьбах России; а читатель видит, что на самом деле взрослые сводят личные счеты. Пока Подросток разбирается в хаосе высоких слов о дворянстве и христианстве из последнего разговора, Версиров ведет свою войну личных отношений. Личные отношения в России, а тем более в России советской — табу первой категории: это — или же тема неприличная, или же крайне неуместная перед лицом трагедии советской интеллигенции. Как страстно я ни пытался разузнать личную подоплеку судьбы моего Версирова, сознательно я избегал даже малейшего упоминания этой темы. Не говоря уже о том, чтобы взять и записать на бумагу свои редкие открытия. Записи разговоров с моим Вер

1
силовым выглядят как секретные переговоры иностранных посланников, где все, выходящее за рамки диамата, загнано в такой подтекст, что сейчас, наталкиваясь в архиве на старые страницы, я плохо понимаю, что вообще имелось в виду, о чем, собственно, шел такой ожесточенный спор.

История подобных отношений рассказана лучше всего в воспоминаниях Андре Жида об Оскаре Уайльде. Опытный Уайльд повстречал неопытного Жида среди шумного бала случайно и рассказал ему следующую притчу. "Когда Нарцисс умирал, река спросила его: О чем ты тоскуешь? О, — сказал Нарцисс, — я никогда больше не увижу свое отражение в твоих водах. Река грустно молчала. О чем ты тоскуешь? — спросил Нарцисс. Река удивилась: Я-то думала, что ты сидишь на берегу, чтобы я могла наблюдать Свое отражение в Твоих глазах". После некоторой паузы Уайльд добавил к своей притче самое важное слово, а именно ее название: "Ученик". Для меня мораль этой притчи состоит в том, что в подобных отношениях ученика и учителя, то есть подростка и наставника, нет героя. Точнее, нет главного героя, то есть нет точки зрения автора — нет взгляда сверху. Есть два взгляда, ищущих отражения друг в друге, и сама эта перекличка отражений и составляет существо отношений. Каждому участнику этой переклички кажется, что он видит нечто — познает себя через отражение в чужих глазах; другой же с тем же правом полагает, что это он познает себя, что это его роман. Но романа нет, потому что оба забывают о существовании третьей точки зрения: сверху. Забывают, что и в Реке, и в глазах Нарцисса отражается еще и небо, наблюдая себя. Но небо для них обоих не существует: потому что они не видят в нем своего отражения, они глядятся лишь друг в друга. Для них существует лишь исторический процесс созерцания своего места в глазах другого — это морально-эпическое отношение к действительности. Они "впутались в историю". Для меня роман начинается с трансформации героя, с сюжета, как внешней точки зрения на происходящее, со стороны, как бы сверху. Только поэтому авторы так часто утверждают, что их пером движут ангелы. Роман — это нечто не зависящее в конце концов от автора. Нарцисс и

Река ни на секунду не забывают друг о друге. Дневник таких отношений оказался бы нагромождением рефлексий: на берегу исторического железного потока, в глазах собеседника. Я пытался отгадать загадку жизни великого человека, наблюдая собственное отражение в его глазах. Я считал: еще одно наблюдение — и я отгадаю. Но наблюдение нагромождалось на наблюдение, и это нагромождение не выросло в роман.

Занимательно, что в "подростковом", так сказать, романе Андре Жида "Фальшивомонетки", написанном скорее всего под влиянием Достоевского, отношения строятся от обратного: "подросток" тут завязывает отношения с "Версиловым", украв у него чемодан, и узнает одну из самых интимных сторон своего идола — дополнив недостающую половину любовной интриги, знакомой ему частично по рассказам друга-однокашника. Интрига самого романа начинается, таким образом, с кражи чемодана, набитого интимными подробностями. У Достоевского этот "чемодан" зарыт под нагромождением горячих религиозно-философских споров, как рукопись с самиздатом на дачном участке под кустами малины в банке из-под сметаны. На поверхности же интриги — анекдоты и нелепые совпадения. Лишенный собственной личной жизни, "подросток" с головой погружен в историческо-философский план версиловской жизни, скрывая от самого себя ее интимные подробности. Запись происходящего состоит из нагромождения загадочных разговоров и нелепых совпадений. Я сейчас говорю и про себя. Надо было украсть чемодан и открыть его по ту сторону железного занавеса личных отношений.

Подросток, приехав к Версилу, лелеял мечту стать Ротшильдом. Мораль романа Достоевского в том, что к концу повествования Подросток сам становится Версильовым. Только сам став Версильовым, поняв, что у него тоже найдутся свои слушатели, он способен записать свою историю отношений с великим человеком. Он мог, конечно, и вернуться к идее Ротшильда. Роман тогда был бы другим. Но и в том и в другом случае — это возврат в исторические рамки. Подросток может стать простым советским Ротшильдом и купить дачу, или же одеть вериги и новым

Версиловым распространять идеи, попасть за них в тюрьму, вернуться умудренным, найти подростка и разговаривать с ним загадочными афоризмами; пока тот сам не станет, озверев от собственной непричастности, или Ротшильдом или Версиловым. Эта цикличность действовала на меня депрессивно. Я не хотел становиться ни Ротшильдом, ни Версиловым. Свобода — это воля сказать прости-прощай всему тому, что делает тебя приживальщиком в общей истории. Свобода это право на выпадение из исторического процесса. Я считал, что выбираю роман, а не жанр моралистической зпйки, к которой приговорен каждый советский писатель. Эмиграция была для меня литературным приемом.

Скажу иначе — литература личных отношений в подполье катастрофична тем, что каждый день в этой жизни становится литературным событием. У этой литературы есть сложившийся жанр — дневник. Лирический дневник. Но интерес к подобному дневнику зависит от того, кто и о чем этот дневник пишет. Лев Толстой, например, в один из дней 900-х годов записал в своем дневнике: "Думал целый день что-то очень важное и забыл". Но нам все равно читать интересно. Потому что Лев Толстой. Катастрофичность лирических дневников, которые я вывез правдами и неправдами в большом чемодане за границу, в том, что имена и конкретные детали жизни не только автора, но и героев дневника держатся в страшном секрете. Ни имена, ни характеристики нельзя употреблять: или по соображениям интимности, или по соображениям госбезопасности. Литература превращается в мифологию личных секретов, недоступных пониманию посторонних. Чтобы вырваться из жанра дневниковости, надо разоблачить анонимность его героев и самого автора. Подобное узнавание происходит всегда через разрыв, отчуждение, отход от интимности в общении. Как конец или начало всякого личного разговора предполагает скандал или по крайней мере разногласие, так и литературе без берегов может быть найден конец, цельность, форма или, как я говорю, сюжет, когда автор дневника или его герой выходят из жанра личного портрета в сугубо личной перспективе. Когда обрываются личные отношения. Но только личные отношения меня в ту пору и интересовали.

Из такого порочного круга было только два выхода: выйти на площадь, разбрасывать листовки и начать саможигаться; то есть ввязаться в историю, стать эпическим героем круговорота ареста-протеста-ареста. Другой выход казался абсурдным. Именно им я и воспользовался. Эмиграция — это объективизация собственной отчужденности: от "внутренней" до "внешней" эмиграции один шаг — через границу. Эмиграция это еще и отчуждение от собственного прошлого: слова твоего прошлого перестают быть интимными. В эмиграции ты узан, опознан властями: твоя подпольная жизнь получает государственный штамп — на отъездной визе. Твоя переписка перлюстрируется, твое личное дело просматривается чиновниками, становится государственным делом. И парадоксально эмиграция возвращает чувство родины внутреннему эмигранту. Такова, по крайней мере, эмиграция из страны Советов. В этом смысле она, эмиграция, как революция. Я думаю, что расцвет литературы в 20-х годах объясняется не столько полной отменной цензуры, сколько именно возможностью поглядеться в зеркало революции. Личные разговоры дореволюционных салонов вдруг обрели сюжет. Сюжет этот прост и незамысловат: "Раньше было так, а теперь вот оно как! Раньше человек таким был, а теперь он вот какой стал". Личные разговоры в эпоху революции стали эпохальными, феноменальными, уникальными, потому что в них возникла динамика — до и после — было одно, а теперь другое. Люди увидели самих себя по ту сторону зеркала, где и время другое, и другие обычаи, и магазины не те.

Эмиграция есть личная революция, даже если она по характеру массовая. И после Великой Октябрьской — эмиграция из Советского Союза есть вторая в России бескровная революция. Еще один, так сказать, Февраль. Революция, потому что это — вторая попытка неприятия режима в массовых масштабах. И, как во времена всякой революции, это неприятие режима мотивировано по-разному: одни хотят печатать то, что не давали печатать до революции, другие отправляются в эмиграцию за хорошей жизнью, третьим нужна религиозная свобода, четвертым национальная независимость. И, как во всякой революции, люди говорят на классические темы: тоска по прошлому, вина за соучастие

в этом прошлом и за жертвы, принесенные на алтарь революции, строительство новой жизни и ее временные трудности, проблема двух поколений до и после революции-эмиграции и т.д. Я писатель третьей русской революции. До революции-эмиграции я был никем.

3.

Мне приходилось начинать с нуля, с состояния мгновенной смерти, сопутствующего всякому перевороту. Я помню, с каким бледным ужасом был раскрыт чемодан, набитый моими московскими архивами. Эти слова было больно и стыдно читать, как больно и стыдно находиться рядом с мертвым телом близкого человека. Этот труп в чемодане, как в гробу, был явно не от мира сего, и, как всякий присутствующий рядом с мертвым, я не был уверен: может быть, неподвижное существо рядом с тобой как раз и живет (в другом, правда, мире), а ты уже умер? Это и есть эмигрантское ощущение немоты, смерти как ощущения потусторонности по отношению к себе прошлому. Это состояние кажется мгновенным, но порой в эмиграции на это мгновение уходит вся жизнь. Чтобы преодолеть это страшное ощущение потусторонности по отношению к самому себе, я стал писать письма. Писем я писал много. Адресат по ту сторону железного занавеса не имел понятия о том мире, в котором очутился отправитель. Описывая новые лица, новые встречи, новые законы и новую географию, мне поневоле приходилось говорить на языке, который не был замкнут на сугубо личном жаргоне, синкретическом словаре, которым я жил в Москве. Приходилось выдумывать новые слова. С другой стороны, словарь моих личных отношений продолжал жить в моей памяти, и, сталкиваясь с новыми лицами и новой географией, я, естественно, по обычным законам человеческой памяти, замечал лишь то, о чем думал еще в Москве. Увиденное таким образом начинало двоиться: на новое, замеченное прежним взглядом, и прошлое, оформлявшееся в новом словаре. Как советская власть, всякий эмигрант бессознательно или сознательно старается переписать свое прошлое, подгоняя его к новой революционной действительности.

Герой моего романа — это всегда человек, который вынужден излагать детали своего интимного прошлого под нажимом эпических обстоятельств: как под следствием, как это бывает в революцию, как это бывает в результате отъезда. И в этом смысле для меня настоящий роман — это попытка сказать то, что больше всего на свете обязан был скрывать. Только растеряв все регалии московского бонвивана и шизоида, только под нажимом чуждого и великого вечного города цивилизации, где он очутился вроде бы по собственной воле, мой герой способен вспомнить о себе то, что всегда старался забыть, вспомнить, пересматривая перепутанные архивы прошлого.

Казалось бы, тот же результат трагической (в смысле темы неизбежности) разделенности мира героя на "тут" и "там" может быть достигнут традиционными романтическими образами — тюрьмы, необитаемого острова, готического замка с призраками. И в каком-то смысле и тюрьма, и необитаемый остров, и общение с призраками на том свете — вполне пригодны как метафоры эмигрантского существования, бытия чужака и отщепенца в другой стране. Набоков, литературный маэстро русской эмиграции, добавил к этому дорожному саквоюжу метафор еще и "камеру обскура", еще и слепоту героя, которого водит за нос продажная девка Европа. Из постели его нимфетки, потерянного рая, всего один шаг до утерянной России его детства. Но это была набоковская эмиграция. И отличие героя нашего времени — в добровольности шага, ведущего к отчуждению, приводящего в тюрьму, на необитаемый остров, к обманной слепоте, в страну призраков. Это добровольное кораблекрушение и самоубийство.

Дело в том, что за хитроумно скрытыми расчетами с прошлым, настоящим и будущим у графа Монте-Кристо или Робинзона Крузо или Гумбольдта Гумбольдта скрывается некая фатальная сила, заговор, удар судьбы, который довел их до нынешнего "эмигрантского" состояния. У этих героев, как и у Набокова, их прошлое, их страна ушла из-под ног. И они попали как мыши в клетку на отравленную приманку — за их перипетиями скрывается злобная рука Крысолова. Герои моего поколения, может быть впервые в истории России, поставили себя в положе-

ние эмигранта-добровольца. Насколько этот свободный выбор можно назвать "свободным" — вопрос философский. Мой литературный герой всегда уверен, что его отъезд может быть приравнен к пересечению Ла Манша, и вдруг выясняется, что обратно на Континент, как на Британских островах называют Европу, уже не попадешь, и надо вести жизнь Робинзона Крузо или графа Монте-Кристо. Железный занавес оказался не перед лицом, а за спиной, но от этого не перестал быть железным.

Этот момент свободной воли создает странный новый мотив в классической теме разрыва и разлуки. Теме, которая сопровождает всякий уход на тот свет, необитаемый остров, в эмиграцию. Это — мотив соучастия. Соучастия в совершившемся и вины за случившееся. Мир, скажем, набиковских героев заранее предрешен, рассчитан и замкнут, как система зеркал, откуда нельзя выбраться, как из мира восточной сказки, где каждый шаг героя продиктован западнями, расставленными на пути героя зловредным визи-рем, пославшим его на погибель в поисках живой воды. В моих героях нет обреченности: они осматривают новый мир, куда они сами себя послали, как новую квартиру, и сравнивают ее с предыдущим жильем. Если бы человек, очутившийся в ином мире, смог бы обвинить в этом кого-то еще, его прошлое было бы статичным, застывшим, как в сказке о спящей царевне, и он глядел бы на своих прошлых врагов и друзей остраненно, как будто в телескоп, объясняя возникшее расстояние от бывшего дома катастрофой.

Мой герой завязан в своем прошлом, потому что вышел из него по собственной воле. Уход же из мира под названием "Москва" всегда разрушает, рвет хрупкую паутину личных отношений, приковывающих железными цепями каждого друг к другу и всех к колесу истории. Каждый уход приводит к слезам, арестам, перемещению в должности и во взглядах на религию. Это прошлое, в случае добровольного ухода, тянется за каждым твоим шагом, и каждая смерть и скандал в оставленной жизни воспринимается на свой счет. Прошлое становится горячими зыбучими песками, где с каждым твоим шагом увязаешь, проваливаясь — поэтому это прошлое все время перестраивается в

уме, переписывается каждым шагом в настоящем, оно жжет твои босые пятки беглого арестанта, оно — дело, которое не закрыто и за тобой тянется. В отличие от набоковских персонажей герои моей эмиграции постоянно оправдываются за свой уход, за свои поступки в прошлом, ищут оправдание своему счастью в настоящем. Отъезд ведь — это еще и отрицание всякого морального долга в отношении к остающимся, которые все так же поставлены под угрозу ареста, ссылки и смерти. Но точно такую же вину испытывает человек на свободе там, за железным занавесом, по отношению к тем, кто уже находится за решеткой. Таким образом эмиграция лишь усугубляет, доводит до маниакальности ощущение конкретной вины, причастности, соучастия. То, что было конкретными спорами в Москве, у эмигрантского героя перерастает в ощущение вины по отношению ко всей России — или вся Россия оказывается виноватой в отношении героя.

4.

Не паранойя ли это? Или вся жизнь в СССР параноидальна, и надо было уехать, чтобы увидеть это и понять? Лишь в эмиграции пышным цветом расцветают те тайные мысли о всемирном заговоре и конспирации, которые мы лелеяли в своем сердце — ловя шпионов и врагов народа, вслушиваясь в мотор воронка за окном или прислушиваясь к разложению гнилого Запада за семью морями. Вместе с этим ощущением всеобщего заговора и конспирации вокруг рождается и чувство жертвенности, страсть к подвигу — во имя идеи, ради заговора, против конспирации. Чем более чуждой кажется новая страна нашего пребывания, тем с большей страстью мы ощущаем собственную избранность — рожденных в России. Все уникальней и уникальней кажется нам и сама оставленная страна, уже не страна Советов, а страдающая Россия, божественной кажется нам ее миссия. Россия становится страной мессианской. Убедившись же в том, что мир не живет одними вечными российскими вопросами, мы начинаем ностальгировать по прежнему параноидальному состоянию, по жизни, идеологизированной и политизированной в каждом ее проявлении.

Как герой тургеневских "Записок охотника", Чертопханов, мы готовы убить вновь обретенного коня только потому, что подозреваем: а вдруг он не тот, не прежний, тем более тот был серый в яблоках и этот серый в яблоках, а год прошел, и масть должна была поменяться.

Мы тоскуем по своей первобытной цельности, когда все было понятно: тюрьма здесь, "у нас", свобода "у них", там, на Западе. Мы уезжали, как будто расставались с первой и последней любовью, это был первый и последний развод, и уезжали мы, давая обет безбрачия. Мы уезжали в никуда, а выясняется, приехали в другую жизнь. И нам тут же захотелось поделиться впечатлениями с брошенной женой. Каждый из нас знает эту смесь нервозности и приподнятости, ясновидческого состояния при полной белиберде в голове, когда любая ерунда вызывает целую цепочку аллюзий и реминисценций. Когда, по словам московского прозаика Павла Улитина, в душе у человека бушует буря чувств, а сказать он может только: "Бей жидов, спасай Россию!". Это состояние называется любовью. Я пережил это состояние дважды: когда был подростком, и когда приземлился по другую сторону железного занавеса. Как известно, самые частые случаи самоубийства наблюдаются среди подростков и среди эмигрантов. Первая любовь кажется последней, и когда ей приходит конец, кажется, что кончается жизнь.

Воспитанные и возвращенные на тотальности всякой идеи, мы хотим, чтобы прошлое было одно, чтобы Россия была для всего мира, мы не хотим признать, что мир больше не живет по католическим законам о разводе. И что снявши голову, по волосам не плачут. И что лишившись невинности, нечего строить из себя евнуха. И что мир вообще устроен не так, как нам хочется, и не сошелся клином на России. Самый непримиримый эмигрант, упорный в своей верности оставленной родине, не сможет не признать, что, сидя там, никогда бы не додумался до слов, которые он произносит о России здесь. То, что он формулирует как приговор своему настоящему, в сравнении со своим героическим российским прошлым, в действительности понимание от обратного его прежней жизни, понимание, ради которого он и уехал. Это понимание уже

не зависит от самой географической России — она существует уже исключительно в голове, в душе, в сердце, сидит в печенках и подлежит постоянной ревизии и духовной революции.

Во всем, что касается эмиграции, я — субъективный идеалист. Уникальная разделенность мира железным занавесом создает необходимую дистанцию между прошлым и настоящим моих героев, вкладывает в их уста слова, на которые они не были способны, которые казались бы неубедительными и фальшивыми, если бы не было общей веры в фатальность и катастрофичность отъезда из кремлевской Москвы. В отличие от своих героев я доволен своей ролью иностранца на Британских островах; иностранца в том смысле, что в Англии я живу с израильским паспортом, по-израильски говорю лучше, чем по-английски, а моя первая книга была издана по-французски. То, что Россия до сих пор гремит тюремными решетками и сапогами парадов на Красной площади злом в моем сердце — дело сугубо личное: дело памяти, которая дается, видимо, даже не рождением, и поэтому неисчерпаема, как бы долго и далеко от Красной площади я ни находился. И в этом смысле я никуда не уезжал из Москвы. Потому что меня интересует Москва в моем сердце и памяти, как и Москва в головах моих московских друзей — мне плевать на железный занавес и советских пограничников. Речь идет о революции в головах — об эмиграции как о готовности отказаться от себя прежнего, советского, компанейского, кружковского, партийного, профсоюзного, митингового и закадычного, и вспомнить, что кроме любви и дружбы и двух берегов у одной реки есть еще и небо. Речь идет о предпочтении истины — родине, по Чаадаеву. И революция эта произошла не только с теми, кто фактически отбыл за железный занавес, но и с теми, кто осознал существование этой жуткой перегородки. Наверное, в Советском Союзе нет сейчас ни одного, кто так или иначе не решал бы для себя вопрос об отъезде, и как бы этот вопрос не был решен лично, даже если человек остается — он уже не останется прежним. Это и есть бескровная революция. Это и есть революция Февраля. На смену Февралям приходят Октябри — по новому календарю. И, скорее всего, очередной диктатурой большинства за-

кончится и нынешняя эпоха эмиграции, как внутренней так и внешней.

Первая волна эмиграция из послереволюционной России покидала страну, сжав зубы: это была их Россия и поэтому страну своего эмигрантского пребывания они знать не хотели; это было лишь временное убежище, призрачный мир затянувшегося тургеневского курорта, отпуск, который в конце концов закончится, и все они смогут вернуться домой. Моему герою трудно назвать советскую страну родной: существование там сводилось к тому, что, с озверением выглянув в окно на советскую власть, мы возвращались к пирушке с друзьями, во время которой зло и дерзко острили по поводу того, что только что увидели из окна. Мир делился на "наших" и "не наших". Поэтому мы уезжали на Запад как домой в претворенную свободу наших разговоров "там". Поэтому мы так болезненно и придирчиво, по-чертопхановски относимся ко всему, что происходит "здесь". Мы пристально следим за каждой деталью: насколько этот мир оправдал наши ожидания? От этого у каждого из нас на устах постоянное сравнение нашего настоящего с нашим прошлым. Для первой "белой" эмиграции настоящее здесь было призрачным. Люди второй волны, послевоенной, не желали знать о своем сталинском прошлом, от которого бежали через заградотряды и смершников. Большинство из них отвергло даже язык как последнюю память о покинутой стране. Мы же оказались в роли двойных агентов. Как ни делили мы нашу жизнь там на "них" и на "нас", как ни делилась наша речь на официальную и речь личного разговора в своем кругу, угнетала нас не тюремная отделенность личных отношений от советского митинга вокруг, но именно ощущение соучастия в этом митинге, несмотря на все пуританские усилия уйти в подполье. Каждый подозревал, что он и есть советская власть, что он и есть центральный комитет безопасности профсоюзов.

И в эмиграции, когда личное прошлое каждого приняло географические размеры покинутой страны, мы вновь оказываемся в ситуации двойных мыслей и двойного языка. Пора перестать относиться к этому, как к трагедии, пора извлекать уроки из этой двойной жизни. Эта двойствен-

ность — состояние умов во всякий революционный период.

И если я планирую возвращение в мою Москву, то возвращение это — к своему подростковому прошлому, которое я так и не смог сформулировать, живя в Москве. За семь лет я научился отделять себя от собственных слов, и лирический дневник на тысячи страниц, вывезенный секретно в чемодане, перестал быть позмой без героя. Мой подросток уже сравнялся по возрасту со своим бывшим наставником Версиловым. Теперь, чтобы рассказать историю о том, как он впутался в московскую историю, подростку уже нет необходимости уезжать в эмиграцию и "переводить" личные отношения в эпический план. Он сможет говорить о Москве, уже разгуливая по московским улицам, потому что научился приписывать географию одного города другому, и слова второго собеседника третьему без риска быть пойманным с поличным. Я думаю, этот роман будет называться "Украденный почерк". Настоящая же Москва меня не интересует, да ее, может быть, уже и нет на свете, по крайней мере той Москвы, из которой я уехал. Она, наверное, окончательно уйдет из моей памяти, когда слова полностью обновятся, и слово "русский" вообще исчезнет из моего лексикона. Грустно только, что, по словам автора одного из эмигрантских романов, Виктора Шкловского, "пока губы обновляются, сердце треплется".



ЭДУАРД ЛИМОНОВ

«ПОДРОСТОК САВЕНКО»

В издательстве "Синтаксис" вышла новая книга Эдуарда Лимонова "Подросток Савенко". Это роман о юном российском поэте с улицы и об уличной, полублатной, исполненной жестокости, жизни. Страшный мир харьковской окраины, изображенный с пронзительной правдивостью, открывает нам такой срез современного народного бытия и сознания — на уровне городской молодежи из советских социальных низов, — который еще не производился в русской литературе.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

Цена 96 фр. фр.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

После семнадцати лет эмиграции Марина Цветаева приехала в Москву 18 июня 1939 г. и покончила с собой в Елабуге 31 августа 1941 г. Она провела на родине два года два месяца и тринадцать дней — срок очень короткий, который тем не менее явственно делится на три периода. Первый — жизнь с семьей в Болшево под Москвой со времени приезда до ареста мужа в октябре-ноябре того же 1939 г. Второй — после ареста близких: Москва-Голицыно-Москва — до начала войны 22 июня 1941 г. Третий: война: Москва-Елабуга (с поездкой в Чистополь) — до смерти.

Здесь не место касаться сложных обстоятельств и причин, предшествовавших возвращению Цветаевой. Скажу только, что вернулась она совершенно добровольно и сознательно, не имея иллюзий относительно своего будущего на родине, движимая чувством долга по отношению к семье, часть которой уже была в Москве, а другая часть туда рвалась. Никакого политического значения факт возвращения Цветаевой не имел. Возражу В. Лосской, предполагающей, что Сталину хотелось иметь Цветаеву в Советском Союзе¹. Я убеждена, что Сталин даже не слышал ее имени. Она приехала не как писатель, а как жена сотрудника советской разведки, вынужденного бежать в Советский Союз из-за провала за границей. На всякий случай, как могущая быть потенциальной "свидетельницей", она была не нужна советской власти за границей — вот почему ей разрешили (а может быть, предложили?) приехать в Москву к мужу. Ей даже помогли: через советское посольство она получила небольшое пособие, на которое жила с сыном до отъезда из Парижа и смогла уехать².

В Болшеве, где на даче то ли Наркоминдела, то ли НКВД — разница невелика — уже жили ее муж и дочь, Цве-

таева впервые оказалась в "коммуналке". Эфроны жили вместе с семьей Сеземан-Клепининых, и атмосфера на общей кухне была напряженной. К чести Н.Н. Сеземан, она понимала, что имеет дело с человеком "с содранной кожей"³ и говорила близкой подруге: "Цветаева — гений, ей все можно простить".

"Живу никому не показываясь", — записывает Цветаева о первых неделях пребывания на родине. Круг ее замкнут родными и близкими, соседями, несколькими знакомыми. Она, по-видимому, не выходит в писательский мир, не делает попыток получить работу. Она виделась с Пастернаком — это, без сомнения, был человек, на чью душевную близость и поддержку она рассчитывала больше всего. Подробностей их первой встречи мы не знаем, но ей предшествовал эпизод, рассказанный мне Е.Е. Тагер. "Раздается телефонный звонок, звонит Борис Леонидович и говорит: "Приехала Марина Ивановна и зовет меня к себе. Но я встретил Каверина (и еще кого-то из писателей, кого Е.Е. Тагер не запомнила), и они мне сказали, чтобы я ни в коем случае не ездил. Это опасно... Я не поехал". Е.Е. вспоминала, как она вознегодовала и возмутилась Пастернаком; лишь повесив трубку, она подумала, что, может быть, это действительно опасно: ведь Цветаева только что из эмиграции...

Она пыталась увидеться со старыми знакомыми, но не все решались встретиться с нею. Однако и с теми, кто не побоялся, отношения налаживались трудно, слишком разный жизненный опыт был у Цветаевой и ее прежних друзей. Да и по возвращении она находилась с ними на разных ступенях советской общественной лестницы. С всегдашней преувеличенной чуткостью Цветаева чувствовала это и не со всеми из "прежних" хотела встречаться. Интересно признание А.С. Эфрон в неопубликованном письме к Анткольскому: "Как жаль, что Ваша с мамой настоящая встреча — после ее возвращения в СССР — не состоялась, Вы показались ей далеким и благополучным в трагическом неустойстве ее жизни по приезде. То была эра не встреч, а разлук навсегда — те годы"⁴.

Болшевский период оказался самым счастливым и спокойным за все время после возвращения Цветаевой:

семья была вместе. Конечно, быт "заедал": "полны руки дела... погреб: 100 раз в день. Когда писать?" Но уже сам вопрос "когда писать?" свидетельствует о главном: потребность писать была. И все-таки — "обертон, унтертон всего — жуть"⁵. По-видимому, чувство "жути" было связано как с советской реальностью, оказавшейся страшнее ее предположений, так и с ощущением практической беспомощности своей и мужа. Он никогда не был "добытчиком" — в какой-то мере, может быть, подсознательно, это сыграло роковую роль в его связях с советской разведкой: помимо возможности "послужить родине" и вернуться, давало определенный заработок. К тому же С.Я. Эфрон был, как всегда, нездоров и мнителен. Однако, он или числится по службе все по тому же ведомству, или получал пенсию — на это они жили.

"Болшевская передышка" не протянулась для Цветаевой и пяти месяцев. Она была перебита арестом Ариадны в ночь с 27 на 28 августа. После этого ожидание ареста С.Я. стало вполне естественным. Впрочем, и до того оно не могло быть неожиданным. Н.Н. Сеземан часто повторяла: "начала орден, потом — ордер". Орденов им не дали, а с ордером на арест пришли, по свидетельству Д. Сеземана, "под самый под светлый Октябрьский праздник"⁶ — видимо, в ночь с 6 на 7 ноября. Советская власть любила арестовывать под праздники. Оставшимся обитателям дачи предложили ее покинуть, и дачу опечатали. Цветаева осталась с сыном на улице без средств к существованию. К счастью, советский паспорт у нее уже был, она получила его 21 августа 1939 г. Без паспорта ее положение осложнилось бы еще больше.

Цветаеву с Муром приютила Е.Я. Эфрон. У нее можно было "пережить" какое-то время, но жить было невозможно. О. Ивинская вспоминает об этом жилье: "на сундуке в крохотной комнатуске"⁷. Все же мы благодарны душевной щедрости Е.Я. Эфрон, не отказавшейся от своих попавших в беду родственников.

Цветаевой необходимы были жилье и работа. Как писатель-профессионал она должна была искать литературный заработок, и это заставило ее выйти из затворничества. Приходилось начинать литературную "карьеру" заново, ибо

для советской литературы Цветаева не существовала. Но "начинала" она не на пустом месте, а отягченная грузом своего писательского прошлого и самим фактом эмиграции. В этот отчаянный момент ей помог Пастернак. О. Ивинская упоминает о его неудавшейся попытке заинтересовать судьбой Цветаевой "самого" Фадеева⁸. Зато вполне удалось знакомство с Виктором Гольцевым — влиятельным деятелем в области литератур советских народов. "Пастернак свел ее с Гольцевым, который дал ей переводы", — вспоминала В.К. Звягинцева. В Голицыно Цветаева приехала уже с заказом на перевод Важа Пшавела.

Нет достоверных сведений о том, кто помог Цветаевой устроиться в Голицыно, но думаю, что и в этом принимал участие Пастернак. Нужны были чьи-то настойчивые хлопоты, чтобы такого человека как Цветаева пустили в писательский дом. Правда, в сам Дом творчества ее не пустили, хотя это могло бы чрезвычайно облегчить ее быт. Цветаева получила для себя и сына не путевки, а курсовки, что означало дополнительную плату за комнату и заботу о дровах⁹.

Голицыно — самый "домашний" из писательских домов: в те времена там жили по 9-10 человек, было уютно, все обедали за большим общим столом. На тех, кто знал Цветаеву после возвращения, производили большое впечатление ее безукоризненная воспитанность, приветливость, сдержанность. Несмотря на "не нашу" одежду, во всем ее облике "чувствовалась бедность, может быть даже нищета" (слова М.С. Петровых). Обращали внимание серебряные браслеты, звеневшие, когда она двигалась. Но главное впечатление производила не внешность Цветаевой, а ее речь, ум, острота и точность суждений, независимость оценок. Т.Н. Кванина¹⁰ рассказала: "Мы с мужем жили в Голицыно... Я впервые попала в эту среду, и каждый живший там писатель казался мне Львом Толстым, я на всех смотрела почтительно. И вот однажды, когда все сидели за столом и болтали, открылась дверь и... нет, она даже не вошла и как будто дверь никто не открывал... возникла в дверях стройная женщина, вся в серебряных украшениях. В нескольких шагах за нею шел (просто шел!) большой красивый мальчик, как оказалось, ее сын.

Их места были в середине стола, они сели — и сразу изменилась атмосфера в столовой. Тут же прекратилось лакейское перемывание чужих костей, все как-то потускнели и перестали мне казаться Львами Толстыми... Поднялся уровень застольного разговора. При Цветаевой невозможна была пошлость, пересуды. Не только смысл того, что она говорила, был всегда высок и интересен, но и сама ее речь была необычна: мне она показалась несколько старомодной и книжной. При Марине Ивановне все как бы поглупели, никто не оказался равен ей за этим столом. После обеда все почему-то пошли ее провожать... Шла я как-то отдельно, я в этой компании не была своей; по дороге попало дерево, я подошла и погладила его... Цветаева заметила это и выделила меня. И когда мы прощались около ее дома, она пригласила нас к себе — почему-то только нас, меня и Николая Яковлевича. И мы к ней пришли в тот же вечер... Мы стали у нее бывать”.

Как видим, Цветаева продолжает оставаться самой собой, во всем блеске своего интеллекта и со своим особенным чувством других людей. В ласке к дереву она почувствовала одиночество молодой женщины и откликнулась на него. Они подружались... Она по-прежнему щедра к тем, кого считает друзьями.

Время Цветаевой в Голицыно делилось между работой и поездками в Москву по издательским делам и для стояния в тюремных очередях. Работала она эту зиму и весну очень много; ею переведены с грузинского три поэмы Важа Пшавела общим объемом около двух тысяч строк, с английского — две баллады о Робин Гуде — 300 строк. Видимо, тогда же она перевела и болгарских поэтов — летом 40-го года они были опубликованы. Переводами Цветаева занималась до самого отъезда в эвакуацию. Это была работа для заработка, однако Цветаева никогда не отступала от своего принципа сделать любую работу в полную меру своих сил, не позволяла себе как бы то ни было облегчить свою задачу¹. Сошлюсь на мнения специалистов. Грузинский исследователь Александр Цыбулевский, анализируя тексты оригинала и переводов, приходит к выводу, что в переводах Важа Пшавела Цветаева оставалась на самом высоком уровне собственной поэзии². Об этом же

пишет, говоря о переводах из зарубежной поэзии, Вяч. Вс. Иванов: "В переводах Цветаевой оказалась та же ее неуемная, всеобъемлющая сила"¹³.

Подтверждением того, что творческие возможности Цветаевой не иссякли, может служить анализ ее работы над стихами для сборника 40-го года, в частности, "Тебе — через сто лет", "Писала я на аспидной доске..." и "Земное имя". Она действительно доводила свои ранние стихи до совершенства. Интересно свидетельство сотрудницы "Красной Нови", где Цветаевой давали на консультацию так называемый "самотек" — факт этот до сих пор не был известен. Редактора удивило, что Цветаева чересчур серьезно пишет рецензии, и однажды она спросила Цветаеву, зачем та тратит на ответы неизвестным авторам так много времени. Цветаева ответила, что иначе нельзя, ведь речь идет о поэзии. И действительно, по словам редактора, ответы Цветаевой были выше уровня рецензируемых стихов — всегда о Поэзии. Мне не удалось обнаружить в архиве следов этой работы, но я надеюсь, что когда-нибудь эти внутренние рецензии Цветаевой найдутся.

Голицыно отнюдь не было для Цветаевой родным домом, как потом пыталась это представить его бывшая заведующая С.И.Фонская. Думаю, после выезда из Борисоглебского переулка в мае 1922 г. Цветаева нигде не чувствовала себя вполне дома, в предвоенной Москве — тем более. Как большинство современников, она со страхом прислушивается к темноте: "по ночам опять не сплю — боюсь — слишком много *стекла* — одиночества — ночные звуки и страхи, то машина, чорт ее знает что ищущая..."¹⁴ Как многие современники, она подголаживает. Т.Н. Кванина тогда же записала одно из посещений Цветаевой — уже после Голицына: "Угощала супом. Видимо, не обедала нарочно, ждала меня, хотелось угостить. Я отказывалась, но надо было сесть. Суп — вода с грибами и крупой (жидкий-жидкий). К супу пирожок, который она разрешила пополам: мне и себе". В этом рассказе нищета и щедрость — на равных.

28 марта 1940 г. произошел конфликт Цветаевой с Фонской; на самом деле, конечно, с Литфондом, Фонская была лишь передаточной инстанцией. С Цветаевой потребо-

вали двойную плату за курсовки по сравнению с той, какую она платила предыдущие месяцы. Такой возможности у Цветаевой не было. Она перестала есть за писательским столом и брала домой в кастрюльках одно питание на двоих. Они с Муром прожили в Голицыно до конца школьного учебного года. 7 июня 1940 г. Цветаева навсегда уехала из Голицына.

Лето они прожили в квартире А.Г. и Н.А. Габричевских в здании Университета на ул. Герцена. "Нам было очень хорошо", — писала Цветаева¹⁵. Только теперь она получила багаж из Парижа и начала распродавать (и раздаривать! и очень щедро) свои парижские вещи. Думаю, что эти распродажи, а не литературные заработки были ее главным материальным подспорьем. А.С. Эфрон сказала: "ее поэтические дела были не так плохи. Елизавета, тетка, говорит, что она очень хорошо зарабатывала"¹⁶. Пользуясь подсчетами Цветаевой в письме к Москвину¹⁷, можно установить, сколько платили ей за переводы, и представить, сколько она могла заработать. За переводы поэзии народов СССР Цветаева получала по 4 рубля за строку, за переводы зарубежной поэзии — по 3. Много это или мало? В сентябре 1941 г. Пастернак пишет о 5-ти рублях за строку собственных стихов как о недостаточном гонораре, а о 10-ти за строку перевода "второстепенных латышей и грузин" — как о неожиданно большом¹⁸. Вероятно, Цветаевой платили чуть выше самых низких расценок. Судя по подсчетам писательских заработков в статье Ал. Толстого и Вс. Вишневского в "Правде"¹⁹, Цветаева оказалась среди самых мало зарабатывающих писателей.

Главной заботой Цветаевой летом 40-го года были поиски жилья. Она была не в состоянии провести еще одну зиму за городом. Она давала объявления в газету, бегала по объявлениям — все было напрасно. Она обратилась в Союз писателей. А.С. Эфрон рассказывала об этом в принятых ею радужных тонах: "Союз писателей за нее хлопотал, наконец инспектор Литфонда, милейший человек, помог..."²⁰. Хочу добавить к этому следующее. У Н.К. Треневой, вдовы Павленко, хранилось письмо к нему Цветаевой — заявление в Союз писателей по жилищному вопросу. Его сопровождало письмо Пастернака к Павленко, ко-

торое Тренева прочла мне по телефону. Я записала самое важное.

Письма Цветаевой к Павленко Пастернак не читал, но знает, о чем она пишет. Цель, с которой она написала это письмо, Пастернаку неприятна: "чтобы потом не говорили, что не обращалась в Союз". Потом было: я знаю Цветаеву "как умного и выносливого человека" и (далее я не запомнила дословно и, видимо, огрубляю, но смысл точен) если она чем-то грозит, не воспринимай этого буквально, она этого не сделает. Эта фраза меня так ошеломила, что надолго оставила ощущение равнодушия Пастернака к судьбе Цветаевой, некоего лукавства: и написал, и ничего не попросил. Однако, в моей записи дальше есть слова о том, что положение Цветаевой очень тяжелое, "гораздо тяжелее всего, что она может тебе написать", и просьба принять Цветаеву и как-то обнадежить. И снова отступление: хотя я знаю, что помочь ты ей ничем не можешь. В конце упоминалось о какой-то комнате, из которой кто-то уезжает на долгий срок... Письмо Пастернака датировано 28 августа 1940 г. О посещении Павленко Цветаева 31 августа сообщает Вере Меркурьевой². Вскоре Цветаева получила комнату и прописку на Покровском бульваре в квартире № 62 дома 14/5.

В конце октября Цветаева уже жила на Покровском бульваре. Она заканчивала подготовку своей книги, не сомневаясь в бесполезности этой работы: "Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за переписку, опять исправляю и почти уверена, что не возьмут, диву далась бы, если бы взяли. Ну, я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась)"²². Последняя фраза перекликается с ее же словами из письма Пастернака Павленко: "чтобы потом не говорили, что не обращалась..."

Почти на треть сборник составлен из стихов, написанных в годы перед эмиграцией, остальные — из "После России". Впервые в жизни Цветаева отказалась от своего правила "ничего не облегчать читателю"; озаглавив для сборника 40-го года большинство стихотворений, она тем самым давала читателям путеводные ниточки к их пониманию. Но почему она не включила в книгу более поздние и "ударные" стихи, такие как "Челюскинцы", "Стихи к сы-

ну”, ”Дом”, ”Никуда не уехали — ты да я...”, ”Сад”, ”Родина”? Они могли бы дать доброжелательному рецензенту возможность сделать упор на тяжести жизни поэта в эмиграции, его любви к родине и стремлении с ней воссоединиться. Цветаева не могла не понимать этого и все-таки не пошла на это. Почему? Не был ли это вызов судьбе? У меня нет ответа.

Впрочем, доброжелательному рецензенту книги Цветаевой не дали. Ее рецензировал известный критик Корнелий Зелинский, чей приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Это был своего рода донос в форме рецензии. Зелинский начинает с реверанса: ”Сборник, составленный ею, — по-своему цельная, искренняя и художественно последовательная книга”. В следующей фразе: ”И может быть поэтому с такой отчетливостью видно, что это стихи ”с того света”, нечто диаметрально противоположное и даже враждебное представлениям о мире, в кругу которых живет советский человек”. В главном Зелинский прав, хотя он передергивает понятия: творчество Цветаевой действительно враждебно социалистическому реализму. Ибо если существует поэзия Цветаевой — социалистическому реализму нет места. И наоборот — там, где процветает соцреализм, недопустима настоящая поэзия. Зелинский утверждает, что стихи Цветаевой манерны, почти недоступны для восприятия, бессмысленны и негуманистичны. ”В заключение” он обращается к политической стороне дела. Читатель, пишет он, ждет от Цветаевой объяснения, ”под каким знаменем шел и идет автор”: ”Целый ряд стихов Цветаевой был посвящен поэтизации борьбы с СССР (напомним хотя бы ”Пусть весь свет идет к концу — достою у всенощной”, ”Кем полосынька твоя нынче выжнется” и многие другие). Разумеется, мы их вспоминаем здесь вовсе не для того, чтобы колоть глаза, а единственно, чтобы отклонить его тезис ”надмирности”...” Кстати, если бы Зелинский не хотел ”колоть глаза”, он мог бы и не вспоминать об этих стихах, ибо в рукописи, которую он рецензировал, ни этих, ни подобных стихов нет.

Без сомнения, книга Цветаевой была отвергнута Госиздатом не за сложность стихов, а за несозвучие с эпохой социализма. Никаких предложений по доработке сборника,

изменению его состава или композиции в рецензии Зелинского нет. Рассказ А.С. Эфрон о том, что студенты Литинститута, которым Цветаева читала стихи из этой книги, заставили Зелинского и издательство изменить отношение к сборнику, я воспринимаю как сказку. Каждый, знакомый с издательской практикой в Советском Союзе, понимает, что никакие студенты никакого влияния на решение Госиздата оказать не могли, даже если бы они и осмелились написать туда письмо. Книга была "зарезана", и как ни готова была Цветаева к отказу, рецензия Зелинского ее больно задела.

За все время пребывания на родине Цветаевой только однажды удалось опубликовать свои стихи: в мартовском номере журнала "30 дней" за 1941 г. было напечатано ее старое (1920-го года!) стихотворение "Вчера еще в глаза глядел..." под названием "Старинная песня" и без "крамольной" строфы с упоминанием смерти. Но и эта единственная публикация не ускользнула от внимания критики. В "Известиях" я наткнулась на статью "Безмятежное созерцание", где об этом стихотворении сказано: "меланхолические причитания Марины Цветаевой, изобличающей любовь-мачеху и страдающей оттого, что "увозят милых корабли", "уводит их дорога белая"..."²³.

Внешне, на людях Цветаева держалась отлично, мало кто мог догадаться, что творилось у нее на душе. Она трезво оценивала отношение окружающих. "Меня все считают мужественной, — записывает она и признается: — Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего..."²⁴. Она не притворялась с людьми, она "держалась", пока жила и считала нужным жить. Одиночество душило ее, но те, кто встречался с ней, этого не ощущали. С.И. Липкин удивлялся: почему Цветаева звонила ему с такими простыми вопросами по поводу переводов? И вдруг — при мне — догадался: может быть, ей просто хотелось услышать человеческий голос? Тогда это ему и в голову не приходило. И Т.Н. Кванина только годы спустя поняла: "она была настолько одинока, что даже участие мало знакомого человека ей было приятно... А мне казалось, что у нее много "высоких" друзей: Эренбург, Пастернак, Асеев..."

С "высокими" друзьями, с литературным миром от-

ношения не сложились. Достаточно вспомнить, что представлял собой тогда этот мир, чтобы понять, что они и не могли сложиться (о единичных исключениях не говорю). Ордена, квартиры, дачи, писательский клуб с лучшей в Москве кухней, а в душах страх гибели, единственное желание — угодить. Что было этим людям до Цветаевой? Больше всего она воспринимала "разминовение" с Пастернаком. Братство поэтов, с надеждой на которое она возвращалась, не состоялось: общение с Пастернаком происходило на уровне "быта", ей же по-прежнему важнейшим было Бытие. Никаких последствий для обеих не имела и единственная "двухдневная" встреча с Ахматовой. "Так разминовываемся мы..."

Жизнь была Цветаеву упорно и беспощадно. Она устала, постарела, изменилась внешне. "Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху!" — негодовал сын²⁵. От прежней Цветаевой оставались стройность и летящая походка. И все-таки она не перестала быть женщиной, была способна преображаться. Вот рассказ очевидца.

"Это было перед войной. Я стоял в Гослитиздате в очереди за деньгами... мы ждали, когда их привезут. Было много народу. Вдруг кто-то толкает меня в бок и говорит: "Цветаева..." Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом.

И вдруг лицо ее преобразилось, осветилось, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то, только что вошедшему... Я оглянулся и увидел Тарковского..."

Арсений Александрович Тарковский — поэт и переводчик. Это к нему, конечно, обращено письмо Цветаевой в октябре 1940 г.: "Милый тов. Т. Ваша книга прелестна..."²⁶. М.С. Петровых сказала мне, что и он был увлечен Цветаевой и тяжело пережил ее гибель. В его книге несколько стихотворений обращены к памяти Цветаевой²⁷. Я слышала, что А.А. отказывается говорить и писать о Цветаевой и хранит посвященные ему ее стихи. Возможно, в недавнюю публикацию неизвестных стихов Цветаевой в "Неве"²⁸ вошли какие-то из них.

Первое стихотворение в этой публикации обращено к Евгению Борисовичу Тагеру: "Двух — жарче меха! рук — жарче пуха!..." Им тоже какое-то время Цветаева была увлечена, с ним и его женой Еленой Ефимовной приятельствовала... Подборка в "Неве" — сенсация. Теперь мы знаем пять стихотворений, написанных Цветаевой на родине. И все же это не меняет моего мнения, что в общем Цветаева не писала стихов в Советском Союзе. Эти стихи заслуживают отдельного разговора, но в целом, мне кажется, это "старые" стихи — и внутренне, и по поэтическому строю.

Дважды в письмах Цветаева повторяет, что "своего" не пишет²⁹. Я уверена, что она делала это сознательно, отказ от стихов был принципиально избранной позицией. Уезжая из Парижа, она сказала М.Н. Лебедевой: "если не смогу там писать, покоичу с собой". Она почти была уверена в этом, просто оставляла себе капельку надежды, говоря "если"... Я хочу возразить тем, кто считает победу "письменного стола" над "бытом" подвигом Цветаевой³⁰. Это не подвиг, а естественный образ жизни поэта. Я думаю, что при всей трагичности судьбы Цветаевой она прожила творчески счастливую жизнь, сумев осуществиться в поэзии. Подвигом был бы для нее отказ от стихов, а не борьба с бытом. Этот подвиг она совершала, живя в Советском Союзе. "Сколько строк миновавших! — записывает Цветаева осенью 1940 г. — Ничего не записываю. С этим кончено"³¹. "С этим кончено" — ведь это приговор своим стихам. Почему Цветаева не захотела писать стихов в Советском Союзе? Одно объяснение кажется мне похожим на правду: а о чем она могла бы писать? Включиться в многоголосый славословящий хор советских поэтов — для нее это исключалось. Писать о том, что она пережила и перечувствовала по возвращении — а где бы она хранила эти стихи? Она уже знала, что такое аресты и обыски. Может быть, что-нибудь из сочинявшегося она унесла с собой в могилу. Записывать она не позволила себе ничего. Однако, сознательность отказа от творчества не означает примирения Цветаевой с этим отказом. Это была одна из форм самоубийства. "Если не смогу там писать — покончу с собой" — такие слова зря не говорятся.

Грянула война, начались воздушные тревоги. Цветаева боялась за Мура, страшно нервничала, рвалась в эвакуацию. Пастернак от эвакуации отговаривал, но перебраться к себе на дачу — на что Цветаева надеялась — не предложил³². Он же проводил ее с Муром в Химкинский речной порт, откуда они отправились пароходом в эвакуацию 8 августа 1941 г.

Не буду останавливаться на фактической стороне последнего месяца жизни Цветаевой³³. Хочу возразить человеку, рассказавшему В. Лосской, что в Елабуге "Цветаева еще работала: сидя за горой книг, она все время писала..."³⁴. В Елабуге осенью 1966 г. я специально спросила Бродельщиковых, были ли у Цветаевой книги, и получила ответ: "Книг не видели". — "А читала она что-нибудь?" — "Нет, не читала". Елабужские хозяева сказали мне, что Цветаева постоянно уходила из дому, как они думали, "работу искала, да какая здесь работа?"

Уже возникают споры: получила или не получила Цветаева место судомойки, разрешили ей или нет прописаться в Чистополе... А. Саакянц пишет, что места судомойки еще не существовало, поэтому просьба Цветаевой осталась без ответа. Прописку же в Чистополе ей разрешили, о чем она телеграммой известила сына³⁵. Это важно, как любой факт биографии Цветаевой. Но в разговоре о причинах ее смерти это не имеет, по-моему, никакого значения. Жизнь и смерть Цветаевой уже не зависели от житейских дел. А.И. Цветаева права: "от ударов материального неурядства Цветаевы не умирают"³⁶. Смерть Цветаевой была предрешена задолго до Елабуги, до войны и даже до ее *приезда* на родину. Уже ее последнее письмо к Тесковой звучит как предсмертное.

Поставьте в один ряд слова, разделенные несколькими месяцами: "если не смогу там писать, покончу с собой" и "когда я поднялась на палубу парохода (увозившего ее в Советский Союз — В.Ш.), я поняла, что все кончено"³⁷. Уже по дороге "домой" Цветаева знала, что ни писать, ни жить там она *не сможет*. Она никогда, ни минуты не хотела возвращаться в Советский Союз. Ее возвращение было добровольно-вынужденным, самоубийственным. Она знала, что едет умирать. Страшные события и обстоятельства жиз-

ни на родине только укрепили ее в этом намерении. После ареста близких мысль о самоубийстве была с ней неотвязно: "Я год примеряю смерть..."³³. В это вплетается новая тема: "если *они* за мной придут — повешусь", — сказала она близкой московской знакомой. Может быть, *они* за ней пришли? Пока мы не можем ни довериться, ни опровергнуть того, что пишут на эту тему К. Хенкин и В. Лосская³⁹. Подождем более достоверных свидетельств или опровержений.

Дважды, говоря о самоубийстве, Цветаева как бы оставляет для себя возможность другого выхода: "если не смогу там писать..." и "пока я нужна..."⁴⁰. Значит, если смогу писать или буду нужна — буду жить. Вот два условия, которые могли бы удержать Цветаеву от самоубийства. "Пока я нужна" — это едва ли не важнейшая внутренняя тема мироощущения Цветаевой. Она чувствовала: "Господи, как я мала, как я ничего не могу!", — и все-таки пока нужно было носить передачи в тюрьму, посылать посылки дочери в лагерь, заботиться о Муре — она должна была жить. С началом войны и эвакуации все это смешалось, потеряло адрес и смысл. Теперь единственный, кто мог удержать Цветаеву, был ее сын — он должен был внушить ей, что ему нужно ее присутствие, именно присутствие, а не ее заработок или прописка... Он этого не сделал. Цветаева поняла, что больше не нужна сыну, что, может быть, даже мешает ему, отягчая его будущее своим прошлым. Больше ничто не удерживало Цветаеву на земле.

Простая женщина А.И. Бродельщикова, хозяйка дома, где повесилась Цветаева, нисколько не осуждая ее поступок, говорила мне: "могла бы она еще продержаться... Успела бы, когда бы все съели..." Почти те же слова сказал мне И.Г. Эренбург: "Если бы она продержалась еще полгода, ее дела устроились бы..." Это вполне вероятно. Но Цветаева не хотела больше "держаться". Она устала и отказывалась жить. "Я не хочу умереть. Я хочу не быть", — записала она за год до смерти⁴¹.

Распасться, не оставив праха
На урну... —

это казалось ей выходом уже много лет назад.

Может быть, в том, что могилы Цветаевой не существует, — исполнение ее истинного желания, ибо, придумывая себе эпитафию, она не сказала: "здесь лежит" — а лишь:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Véronique Lossky. Marina Cvétaeva. Souvenirs de contemporains. В кн. Marina Cvétaeva. Studien und Materialien. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 3, Wien, 1981, с. 249. В дальнейшем ссылки на эту работу: В. Лосская, с.
2. Сообщено А.С. Головиной и И.В. Лебедевой.
3. "Вестник Русского Христианского Движения" (в дальнейшем: Вестник), 1979, № 128, с. 179.
4. Письмо от 6 июня 1966 г. Цитирую по копии.
5. Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, ИМКА-Пресс (в дальнейшем: Неизданные письма, с.), с. 629.
6. Вестник, № 128, с. 177.
7. Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. 1978, с. 177 (в дальнейшем: Ивинская, с.)
8. Там же, с. 178.
9. Записка Цветаевой — вопль о помощи по поводу дров — опубликована в воспоминаниях М. Шагинян. "Новый мир", 1977, № 1, с.89.
10. Татьяна Николаевна Кванина — тогда молодая учительница русского языка и литературы, только недавно вышедшая замуж за писателя Николая Яковлевича Москвина. Беседы с Татьяной Николаевной помогли мне понять Цветаеву после возвращения на родину. Я глубоко благодарна Т.Н. Кваниной и прошу у нее прощения за то, что ссылаюсь на нее — я знаю, что она этого не одобряет. Но тем, кто занимается и любит Цветаеву, нужны доброжелательные и правдивые свидетели. *О дереве*, послужившем причиной их знакомства, Цветаева вспоминала в письме к Кваниной год спустя (см. Вестник № 128, с. 187).
11. См. письмо к Н.Я. Москвину "... перед всеми извиняюсь, что я так хорошо (т.е. медленно, тщательно, беспощадно) работаю — и

так мало зарабатываю” (Вестник № 128, с. 183). См. также в письме к дочери. ”Вот сейчас – два дня билась над – оцени подстрочник!” (“Новый мир”, 1969, № 4, с. 214).

12. Александр Цыбулевский. Русские переводы поэм Важа Пшавела (Проблематика, практика, перспектива). Тбилиси, ”Мецниереба”, 1974. Отмечу, что те же что и Цветаева поэмы Важа Пшавела переводили в разное время О. Мандельштам и Н. Заболоцкий.

13. Вяч. Вс. Иванов. О переводах Марины Цветаевой. В кн.: Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе Марины Цветаевой. М., Прогресс, 1967, с. 5

14. Из письма к О.А. Мочаловой от 29 мая 1940 г. Неизданные письма, с. 615. Ср. из ”Реквиема” А. Ахматовой: ”под шинами черных марушь” и ”Громыхание черных марушь”.

15. Неизданные письма, с. 610. В комментарии к этому письму неверно указан ”Дом писателей” на улице Герцена и дана отсылка к ”Четвертой прозе” О. Мандельштама и к ”Мастеру и Маргарите” М. Булгакова. ”Дом Герцена”, о котором идет речь у Мандельштама и Булгакова, находился не на ул. Герцена, а на Тверском бульваре д. 25 – нынешнее здание Литературного института. Цветаева жила на ул. Герцена, где были профессорские квартиры, примыкавшие к старому зданию Московского университета.

16. В. Лосская, с. 251.

17. Вестник № 128, с. 183

18. Б.Л. Пастернак Из писем жене. Вестник, 1972, № 106, с. 224.

19. Алексей Толстой, Всеволод Вишневский Об авторском гононаре. ”Правда”, 1937, 27 июня, № 175, с. 3.

20. В. Лосская, с. 250.

21. Неизданные письма, с. 614.

22. Там же, с. 633.

23. М. Мирлэ Безмятежное созерцание (”30 дней”, № 3, 1941 год) ”Известия”, 1941, 29 мая, № 125, с. 4.

24. Неизданные письма, с. 620.

25. Там же, с. 620.

26. Там же, с. 632.

27. Арсений Тарковский. Земле – земное. Вторая книга стихов. М., ”Советский писатель”, 1966, сс. 19, 21, 22.

28. ”Нева”, 1982, №

29. Неизданные письма, сс. 611, 620.

30. См., например: Анна Саакянц. "Равенство дара души и глагола..." "Литературная учеба", М., 1981, № 3, с. 101: "Во всем этом поистине было нечто от подвига. Ибо нянчить грудного сына и урывками, пока он спит, писать свою знаменитую поэму "Крысолов" — это именно подвиг".
31. Неизданные письма, с. 631
32. Ивинская, с. 180.
33. Я уже писала об этом. См Неизданные письма: "Поездка в Елабугу".
34. В Лосская, с. 254.
35. Об этих фактах, как о достоверно ей известных, А. Саакянц пишет в открытом письме А.И. Цветаевой от 31 августа 1981 г. Письмо это попало ко мне без ведома автора и адресата.
36. Анастасия Цветаева. Воспоминания. "Москва", 1981, № 5, с. 133
37. Russian Literature, 1981, № IX, Амстердам, с. 351.
38. Неизданные письма, с. 630
- 39 См К. Хенкин Охотник вверх ногами Франкфурт-на-Майне, "Посев", с. 49; В Лосская, с. 255
- 40 Неизданные письма, с. 630.
41. Там же, с. 630

ТРИБУНА

**ПРОДАЕТСЯ
ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ**

ЦЕНА НОМЕРА 18 фр.фр.

**подписка на 10 номеров
(150 фр.фр.)**

принимается по адресу:

**31, Jardins Boieldieu
92800 Puteaux, France
M-me ZVORYKINE**

пародия...

Анатолий Гладилин

ОПЯТЬ — ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!

(Драматическое представление в виде интервью)

Действующие лица:

Главный редактор Журнала (красавец-мужчина, с седыми висками, с умными, чуть усталыми глазами).

Сотрудница Журнала (зфирное юное создание по прозвищу Дюймовочка, тоже красotka).

Главный редактор солидно располагается в кресле. Дюймовочка садится на стул напротив и не спускает глаз с брюк своего собеседника.

Дюймовочка (с радостным повизгиванием) — Мировая пресса широко отмечает двадцатипятилетие нашего уважаемого Главного редактора. Что может подарить ему редакция в этот день? Себя? (быстро встает на колени и тянется к брюкам собеседника. Главный редактор отодви-

”Главному редактору ”Континента” исполняется 50 лет. Что может подарить ему редакция в этот день? Увы, наши возможности не велики. Мы не можем выпустить специальный юбилейный альманах, /.../ мы не можем и посвятить Максиму целый номер (ну, хоть пол-номера) ”Континента” /.../ Мы дарим Владимиру Емельяновичу Максиму — и читателю — эти тридцать страниц разговора с ним.

... Нам не стыдно.”

”Континент”, № 25, стр. 389.

гается и делает брезгливую гримасу. Дюймовочка принимает прежнюю позу и без тени смущения продолжает): — Увы, наши возможности невелики. Мы не можем пока подарить ему Кадиллак или правобережную Украину. Мы можем подарить ему только наше интервью и напечатать это в журнале.

Главный редактор (с сомнением): А не покажется ли это несколько нескромным? Все-таки в русской литературе такого еще не бывало?..

Дюймовочка (напористо): Кому это покажется? Вашим завистникам? Пусть только пикнут! В Сибирь сошлем! Отлучим от Церкви! И потом — надо же донести ваши золотые мысли до нашего читателя!

Главный редактор (задумчиво): Конечно, надо. Ну давайте попробуем. Вообще-то должность главного редактора — трудная. Журнал издать — не поле перейти.

Дюймовочка (не слушая собеседника и обращаясь к зрителям): Посмотрите как он красив! А глаза-то у него какие — синие! Так и тянет охмурить, так и тянет... (тянется к брюкам, но Главный редактор вновь отодвигается).

Главный редактор (продолжая свою речь): В нашей редколлегии собрались лучшие представители современной демократической мысли и литературы: князь Игорь, Ольга, Шекспир, Платон, Аристотель, Макбет, король Лир, Отелло, Дездемона и эта... как ее...

Дюймовочка (подсказывает): Тень отца Гамлета.

Главный редактор: Да, тень отца Гамлета, которая активно принимает участие в решении всех редакционных вопросов (с ехидцей) в отличие от моего заместителя, все время отсутствующего.

Дюймовочка: Слушайте его, люди! В нем сострадание так же остро, как и страдание! Он умеет так прикоснуться, с такой деликатностью... Он всем все прощает (плачет).

Главный редактор: Мы начали издавать журнал в трудное время. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма! Все силы реакции, Президент и Канцлер, нобелевские лауреаты, профессора Сорбонны и работники радиостанций объединились в сговоре против нашего журнала.

Дюймовочка (с восхищением): Как он говорит! Он — баталия! Он — кулачный бой, он — бой и армия! Он — армия и солдат! И глаза у него — *синие!*

Главный редактор: Моими литературными учителями были Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, Бунин.

Дюймовочка: Неправильно перечисляете!

Главный редактор (грозно сдвинув брови): Я? Неправильно?!

Дюймовочка (ничего не боясь): Сначала Вы. Вы — великий, а потом уж Толстой, Достоевский, Чехов. Какое ваше отношение к Пушкину?

Главный редактор: Пушкин? Ну я великих поэтов еще не упоминал. Например, вас, Дюймовочка, и других сотрудников нашей редакции — Кривого и Горбатого. Что же касается Пушкина, то я подписал его некролог... Я всегда его уважал как африканца, как дуэлянта... Но как явление литературы? Не знаю, честно говоря, не думаю...

Дюймовочка: Ах, какой он скромный! Ах, какой он широкий! Ах, какой он деликатный!

Главный редактор: Я все мечтаю выпустить идеальный номер журнала, чтоб в нем все было по высшему счету — и проза, и поэзия, и критика.

Дюймовочка (обращаясь к зрителям): А вот здесь он не прав. Чудит старик (вздыхнув)... как и все великие. Идеальный номер журнала издать невозможно, потому что наш Главный редактор доброй души человек и жалеет авторов. Приезжают писатели из Союза — растерянные, усталые, без гроша в кармане... ничего еще не понимают, а сразу суют свои рукописи. Жалко их... Как им откажешь? Вот и печатаем — из снисхождения. Поэтому и получают серые номера. Нет, будь моя воля, я бы кроме Главного редактора, поэтов Кривого и Горбатого и, разумеется, себя самой — никогда бы никого в журнале не печатала! Какая великая была бы литература!

Главный редактор: Вихри враждебные веют над нами. Мы окружены агентами КГБ.

Дюймовочка (всплескивает руками): Неужели вся третья эмиграция дала подписку о сотрудничестве с КГБ?

Главный редактор (мягко): Не стоит преувеличивать. Конечно, профессора парижских университетов — все

майоры. Что же касается остальных — то с ними просто. Те эмигранты, которые читают наш журнал, не давали подписки. А те, кто читают другие журналы, естественно, получают переводы с Лубянки.

Дюймовочка: Гениально! Он прозорливый. Он видит насквозь. Что вы чувствуете в свои двадцать пять лет?

Главный редактор (с тяжелым вздохом): Тоску! Кругом верблюжьи, гиппопотамьи рыла. Народ пошел подлый и мелкий. В морду плюнешь — драться лезет.

Дюймовочка: Неблагодарные! Нет для них ничего святого! А мы, например, в редакции, когда он на нас плюет, бережно собираем слюну и храним ее как будущий экспонат для музея. Да, нет пророка в своем отечестве... О чем вы мечтаете?

Главный редактор: Уйти в себя. Писать. Складывать миры на бумаге. И не прерываться, не отвлекаться ни на что...

Дюймовочка (встает на колени и ревет в полный голос): Не покидай нас, Благодетель! Не оставляй нас сиротами! Если уйдешь из журнала — пропадет русская литература, погибнет Россия! Ведь как сказал один известный немецкий писатель (забыла его фамилию): "Человечество обязано всем Спасителю и нашему Главному редактору!"

Потрясенный Главный редактор откидывается в кресле, впадает в прострацию и разрешает публикацию этого интервью. Дюймовочка пользуется моментом и захлебывается в экстазе.

Примечание:

Автор этого драматического представления решительно заявляет, что ничего подобного в нашей свободной, гордой и интеллектуальной эмиграции быть не могло. Все вышенаписанное случилось за тридевять земель, за двумя океанами, в тридесятom государстве. Если же кто-либо осмелится увидеть в этом пародию на уважаемых знаменитых литераторов, но я, во-первых, не унижусь для ответа этому "кому-либо", а, во-вторых, обвиню его в сотрудничестве с КГБ, чилийской хунтой, агентами международного сионизма, и потребую у местных властей выслать этого "кого-либо" за сто первый километр.

БАЛЛАДА О РАСТЛЕНИИ ИММАНУИЛА КАНТА СО МНОЖЕСТВОМ ЭПИГРАФОВ И ИНСИНУАЦИЙ

Эпиграф № 1

Общеизвестно, что Иммануил Кант вел чрезвычайно регулярный образ жизни, никогда не был женат и никогда не занимался сексом. Однако сохранилась легенда, будто однажды ученики этого одного из величайших философов всех времен и народов, крайне огорченные тем, что их любимому учителю совершенно не известна столь, как им казалось, важная сторона человеческой жизни, уговорили его восполнить данный пробел в своем образовании. После чего студенты якобы спросили профессора, как ему это понравилось. В ответ Кант выдал свое знаменитое описание полового акта: "Куча бессмысленных, беспорядочных движений"

Исторический анекдот, почерпнутый мною лет 15 тому назад из не помню какой книги.

Эпиграф № 2

Как-то Владимир Буковский говорил мне, что в Клайпеде, в порту, моряки расплачиваются за услуги представительниц известной профессии книжками "Континента" /. ./ Очень сомневаюсь, чтобы француженка в качестве мзды за аналогичную услугу взяла, скажем, роман Жан-Поль Сартра.

Из интервью с Владимиром Максимовым. В книге Белла Езерская, "Мастера", книга 1, Анн Арбор (Мичиган), "Эрмитаж", 1982, стр. 98.

Эпиграф № 3

"Интересно, – прошмыгнула мысль у меня, – откуда они идут из клиники в бардак или из бардака в клинику?" И сам же себя обрезал: "Стыдись Ты в Париже, а не в Храпунове" /. / Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-

Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне
теперь разница?

*Венедикт Ерофеев, "Москва-Петушки", "Ами",
№ 3, стр. 139.*

Эпиграф № 4

В городе Калининграде
родился Иммануил
и не ведал Христа ради,
где родиться угодил.

/.../

платит флотский проститутке,
вынимает "Континент".

Не предвидел старый хрен

/.../

ни того, в какое сито
буква умная падет,
прежде чем сквозь все препоны

/.../

к новым Кантам попадет.

*Наталья Горбаневская, "Песенка о непредви-
денном", "Континент" № 34, 1982 (на внутрен-
ней стороне обложки).*

Эпиграф № 5

"Взять бы этого Канта да за такие доказатель-
ства года на три на Соловки!" – совершенно не-
ожиданно бухнул Иван Николаевич

Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"

Не жил жизнью совсем сексуальной
Русский наш любомудр Монька Кант.
И в отечестве ебли повальной
Был он внутренний эмигрант.

Сартры бегали Христа ради
Между клиником и бардаком.
Только Монька в Калининграде
Прожил полным холостяком.

Но однажды собрались ребята
В "Континенте" на рю Лористон,
Заявив: "Человечеству надо,
Чтоб ты, Монька, поставил пистон!

Нам пророками было открыто:
Как гора, произведшая мышь,
Сунув букву в известное сито,
Ты Максимова, Монька, родишь!

Не потерпим в Калининграде
Саботажа. Снимай портки!" —
И профессор к ближайшей бляди
Дунул, вспомнив про Соловки.

С той поры в эмигрантском свете
Начался великий момент:
Попадают шлюхины дети
Обязательно в "Кантинент".

Две вещи заполняют мой мозг всегда новым и все
увеличивающимся изумлением и трепетом, чем чаще и чем
серьезнее на них сосредотачиваются размышления: звезд-
ное небо надо мною и нравственный закон внутри меня.

Иммануил Кант, "Критика практического разума".

К сведению лиц, которые журнал "Синтаксис" рецензируют: русское слово "пародия" происходит от греческого *παρωδία* (т.е. "перепев") и означает жанр критико-сатирической литературы, основанный на комическом воспроизведении, утрировке и высмеивании стиля, манеры, приемов или идей какого-либо литературного произведения (или целого ряда литературных произведений — так, например, "Дон Кихот" Сервантеса был задуман как пародия на рыцарские романы, Рабле пародирует схоластов в "Гаргантюа и Пантагрюэле" и т.д.). Поскольку этому жанру свойственно *гипертрофированное* подчеркивание недостатков оригинала, то в некоторых случаях пародисту приходится пользоваться ненормативной лексикой, даже если подобных неприличных слов не было в пародируемом тексте. Говоря проще (чтобы лицам, пишущим критики в эмигрантской печати, было понятно) — как они непристойно пишут, так мы их непристойно и пародируем! (*Прим ред.*)

ПИСЬМО А.Д. СИНЯВСКОМУ

Уважаемый Андрей Донатович,

Не откажите в любезности опубликовать в следующем номере Вашего журнала этот мой ответ на Вашу критику моей статьи. Простите неудачную игру слов, но у этой комической ситуации серьезная подоплека, что и заставляет меня обратиться с открытым письмом. В самом деле, я с большим удивлением прочитал Вашу речь в 10-ом номере "Синтаксиса" (произнесенную два года назад, но опубликованную только теперь и не утратившую своей актуальности), речь, почти вся первая часть которой построена на полемике с моей статьей ("Континент" № 25), прочитал, говорю, с удивлением, потому что увидел, что большинство Ваших стрел прошло по касательной, а я знаю Вас как человека, который обычно очень метко попадает прямо в цель. Вы странным образом прошли мимо некоторых аспектов затронутой проблемы, и как раз тех, которые составляют самую суть моей позиции, а раз так, значит сама тема содержит в себе еще много неясненного, и это побуждает к продолжению разговора.

Вы говорите: полнота правды, предлагаемая Ю. Мальцевым в виде пробного камня, не является единственным критерием художественного достоинства книги. Без сомнения это так, в большинстве даже случаев. Но о каком случае я говорю? Позволю себе процитировать себя: "Са-

ми эти писатели считают себя продолжателями реалистических традиций русской классической литературы, следовательно, здесь и следует искать верный критерий оценки. Не в творческой оригинальности, не в тонкости и изысканности мастерства, не в "красоте непостижимой" (по Фету). В самом деле, если мы оглянемся назад, то увидим, что по сравнению с достижениями русской литературы начала века эта нынешняя промежуточная литература представляет собой шаг назад. Во всем, что касается техники письма, культуры выражения, эстетического кругозора и творческой фантазии — явный регресс. Следовательно, остается критерий реализма, то есть правды. Но этого-то испытания промежуточная литература и не выдерживает".

То есть я сконцентрировал свое внимание на вполне определенном сорте литературы, являющимся сегодня господствующим и едва ли не единственным во всей подцензурной печати (ведь Битов, Искандер, Аксенов и Попов уже вышли из ее затхлых казематов на простор вольного слова). Хотя вообще-то говоря с вопросом о "правде" все обстоит не так уж просто. Меня поразило Ваше утверждение о том, что политика, мораль, философия, и даже религия, и даже "правда" есть нечто постороннее искусству. Помилуйте, но если все это исключить, то что же останется? Голое жонглирование словесами? Не есть ли это Ваше утверждение лишь плод полемической запальчивости? Ведь Ваши собственные книги, как и всякое большое искусство, несут в себе сплав всего этого. Что же касается "правды", то я думаю, если мы углубимся в психологию восприятия искусства, то обнаружим, что ощущение правды является неотъемлемым компонентом любого эстетического суждения, наше принятие или отталкивание в конечном счете диктуется нашим чувством правды и подлинности: мы говорим о правде художественного образа, о правде чувства, о правде выражения и т.д. Но это ведет нас в теоретические дебри и отвлекает в сторону. Вернусь к теме, то есть к современной подцензурной литературе.

Так вот, если принять во внимание, что существует такая литература, которая ставит своей целью запечатление, во всей их специфике, наших условий существования (а только по отношению к такой литературе, и лишь к ней

одной, я позволил себе выдвинуть критерием оценки правду), и если предположить, что такая литература вообще имеет право на существование, что она есть нечто серьезное и достойное внимания, тут-то и возникает главный вопрос — о задаче этой литературы сегодня. И я думаю, что выскажу нечто само собой разумеющееся, если скажу, что задачей ее является запечатление неслыханной уникальности нашей ситуации, запечатление ошеломляющей новизны ни на что не похожих условий существования советского человека, небывалой деформации его психики и всего его внутреннего мира и, конечно же, проникновение в смысл этого нового вида жизни. Наша вольная, неподцензурная литература с трудом, постепенно и очень медленно, приближается к выполнению этой задачи, вернее, к самому лишь началу такого выполнения, давая первые скромные опыты, что же касается подцензурной литературы, то она просто-напросто занимается подлогом. Когда я читаю в западной прессе (да что там западной! даже в наших эмигрантских журналах, и в Вашем в том числе) дифирамбы Трифонову, деревенщикам и прочим псевдореалистам, я испытываю страдание. Страдание от глубочайшей несправедливости и оттого, что все шире распространяется и узаконивается обман.

Чтобы пояснить мою мысль, приведу конкретный пример: попробуйте сравнить недавно переизданную, но написанную еще 30 лет назад книгу Чеслава Милоша "Пленный ум" с книгами Трифонова, попробуйте сравнить тот уровень отображения психологии человека тоталитарного общества и уровень проникновения в нее с трифоновщиной Трифонов, несомненно, представляет собой огромный интерес для анализа, но только лишь как образец именно пленного ума. Какое захватывающее исследование можно было бы написать о психологии творчества советского талантливого коллаборациониста, о попытках примирить голос собственной совести с собственным инстинктом самосохранения и самоцензуры, о попытках обмануть самого себя и читателя, представляя дело так, будто он описывает именно то, что его интересует больше всего, и вовсе не обходит стороной то, что ему на самом деле хотелось бы больше всего написать (история старого большевика без истории краха его мировоззрения) — психоанализ еще не

сталкивался с таким комплексом загнанных внутрь желаний и помыслов. Но такой анализ, видимо, не по силам нашим критикам, они предпочитают петь дифирамбы.

И дело, конечно, не в том, чтобы сводить литературу к политике. Хотя грани тут очерчивать становится уже почти невозможно, ведь сама жизнь наша, сам образ ее стал политикой, и это тоже одно из насилий, совершенных над нашей жизнью. И конечно нелепо, как Вы говорите, требовать, чтобы писатель непременно открыто противостоял государству — это безнравственно. Несомненно. Каждый "выбирает себе крест по размеру". Но каждый же должен быть назван его собственным именем. Этого требует справедливость. И если безнравственно требовать героизма, то еще безнравственнее закрывать глаза на подлог, выдавать титул "реалиста" псевдореалисту, уравнивать в "смелости изображения" коллаборанта, со всеми его комплексами неполноценности, и того, кто решается принять риск свободы со всеми ее страшными (для подсоветского человека) последствиями.

Я понимаю, что эти мои слова вызывают отвращение у Вас, при Вашей тяге к совершенно иным проблемам и к иного рода литературе, но коль скоро в сегодняшней русской литературе все эти вещи имеют такой вес, никуда и нам от этого не уйти. Да и сами эти вещи кажутся убогими и неэстетическими (далекими от подлинного искусства) именно потому, что даются они на таком низком уровне в советской литературе и в большей части литературы неподцензурной, поднятые же на большую духовную высоту они могут и должны стать предметом великого искусства нашего времени, если только Россия еще способна породить такое искусство, а не обречена остановиться на нашем нынешнем ничтожестве.

При сем остаюсь с глубочайшим почтением

Ваш Юрий Мальцев

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Аноним.* Семь вопросов и ответов
о русской православной церкви 3
- Михайло Михайлов.* Безответственность
и недомыслие 37

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Борис Хазанов.* Величие советской
литературы 55
- Ирина Белова.* Поколение, утратившее
своих прозаиков 68
- Феликс Светов.* Чистый продукт
для товарища 85
- Елизавета Мнацаканова.* Хлебников:
предел и беспредельная музыка слова 101
- Борис Гройс.* О русской философии 157

ДРУГИЕ БЕРЕГА

- Зиновий Зиник.* Эмиграция как
литературный прием 167
- Виктория Швейцер.* Возвращение домой 188

ПЯТЫЙ УГОЛ

- Анатолий Гладилин.* Опять двадцать пять 205
- Ю. Вишневская.* Баллада о растлении
Иммануила Канта 209

ПОЧТА

- Ю. Мальцев.* Письмо А.Д. Синявскому 212



Цена номера 40 фр. франков.
Подписка в редакции на 4 номера — 150 фр. франков.
Пересылка за счет подписчика.

